

Петр Филиппович Якубович

**В мире отверженных. Записки
бывшего каторжника. Том 2**



Петр Якубович

**В мире отверженных. Записки
бывшего каторжника. Том 2**

«Public Domain»

1898

Якубович П. Ф.

В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2 /
П. Ф. Якубович — «Public Domain», 1898

«...Следует прежде всего твердо помнить, что не безнравственность вообще, не порочность или жестокость приводят людей в тюрьму и каторгу, а лишь определенные и вполне доказанные нарушения существующих в стране законов. Однако всем нам известно (и профессору тем более), что, например, пятьдесят лет назад, во времена "Записок из Мертвого Дома", в России существовал закон, по которому один человек владел другим как вещью, как скотом, и нарушение последним этого закона нередко влекло за собой ссылку в Сибирь и даже каторжные работы. Существовал и другой также закон, в силу которого человек, "забранный" в солдаты, становился уже мертвым человеком, в редких только случаях возвращавшимся к прежней свободной жизни (николаевская служба продолжалась четверть века), и не мудрено, что, по словам поэта, "ужас народа при слове набор подобен был ужасу казни"...»

Содержание

С товарищами{ 1 }	5
I. В горной кузнице	5
II. Желанные гости	15
III. Рассказ Штейнгарта	23
IV. По-новому	29
V. "Украденный" манифест	38
VI. На очной ставке	50
VII. Герои новой партии. – Открытие Прони	61
Конец ознакомительного фрагмента.	65
Комментарии	

П. Ф. Якубович

В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том II

С товарищами^[1]

I. В горной кузнице

В один морозный мартовский день, когда толпа горных рабочих ввалилась, по обыкновению, в светличку, нарядчика там не оказалось. Мы тщетно прождали его около часу. Наконец пришел от Монахова кучер Бурмакин с приказом отправляться на обычные работы.

– А что мы станем там делать? – слышались негодующие голоса.

– Как что – бурить.

– Поди-кось языком своим долгим побури! Навостри раньше буры, потом и посылай бурить.

– На то кузнец есть, – сказал Бурмакин. – Пальчиков, ты чего ж проклажаешься? Ступай в кузницу, делай свое дело.

– Нет, уж вы сами ступайте, коли такие хитрые – желчно возразил Пальчиков, вынимая из рта маленькую трубочку-носогрейку и якобы равнодушно сплевывая на пол. Внутри его крошечной, нервной и даже в обычное время всегда возбужденной фигурки теперь, видимо, все клокотало и кипело. Уже успев надеть на себя кожаный кузнечный фартук и запачкать углем бледное, с чахлой бородкой лицо, в начале сцены он тихо и неподвижно стоял у порога, но теперь вдруг подскочил быстрыми шагами к баулу, в котором хранились буры и молотки, и, вероятно, для того, чтобы ярче подчеркнуть свое бунтовское настроение, самым удобным образом уселся на нем.

– Это что ж? – спросил Бурмакин в недоумении. – Да ты за нарядчика, что ль, поставлен?

– Давно ль, братцы, в тюрьме с нами сидел, туес туесом был, а как вышел в вольную команду, смазал дегтем сапоги, надел вольную фуражку – и стал мы-ста не мы-ста! В нарядчики тоже лезет, своим братом командовать хочет!

Эти возмущенные голоса одобрительно подхвачены были всей толпой. Бурмакин сконфузился.

– Чего здря говорить, ребята! Какой там нарядчик... Мне велел барин идти сказать – я и пошел. А мне что! По мне, сегодня в кучерах у Монахова служить, а завтра велит начальник – и в тюрьму опять пойду. Я человек подневольный.

Все замолчали.

– Ну, так что же уставщику сказать? Пальчиков, говори, а? Пойдешь в кузницу?

Пальчиков некоторое время помолчал.

– А чем я наваривать буры буду?! – внезапно точно с цепи сорвался он, вскакивая на свои короткие ноги и угрожающе подступая к Бурмакину. – Где она у вас, сталь-то, а? Сколько раз говорил я и Петру Петровичу и самому Монахову? Всё завтра да завтра, а арестанты кого ругают, с кого спрашивают? С меня! А я палец свой, что ль, черная вас немочь возьми, вместо стали отрежу, а? Нет, ты ответь мне – а? Ты чего к дверям-то пятишься? Я – кузнец, так вы думаете, что я и не человек! Жилы вы из меня вымотали, аспиды, вот что! Кровь всю из меня выпили, варвары, черная вас немочь побери!

– И в сам-деле, ребята, чего они над нами куражатся? – загалдела. сочувственно кобылка, в обычное время бывшая всегда на ножах с Пальчиковым, интересы которого как. кузнеца шли вразрез с ее интересами. – Не люди мы, что ль? Буры не стоят, потому стали на них вовсе нет, а уроки с нас полняком спрашивают. Буронос то и дело к кузнецу бегают; Иван Николаевич, вон замаялся ажно вовсе, отказался – опять бурить зачал... Нет, говорят, стали, да куда же она девается? Небось нарядчику аль вам самим по хозяйству что понадобится, так живо сыщется!

– Ну, вот погодите, ребятушки, – вмешался в разговор старик сторож, – новый нарядчик на днях будет. Петру-то Петровичу совсем ведь отказано.

– Как так отказано? Что ты говоришь?

Старик прикусил было язык, но когда Бурмакин, помявшись еще немного у порога светлички, вышел, он вдруг выпалил:

– Из-за Ивана Миколаевича отказано, вот что!..

– Из-за меня?! – с изумлением спросил я, подходя к старику. – Это что же значит?

Старик молча пожевал губами, как бы все еще не решаясь всего говорить, но кобылка окружила его тесной толпой и начала торموшить.

– Коли зачал, горный дух, так до конца уж сказывай! Что тут у вас деется?

– А то деется, что и мне-то житья последнее время не стало. Я тоже виноват, вишь, выхожу, что вы в светличке всё околачиваетесь, чаи распиваете да волынку со мной трете, а не робите.

– Ну, а я при чем же? Почему из-за меня Петру Петровичу Монахов отказал?

– Потому что ты и половины урока николи не вырабливаешь, а на тебя глядя и прочие робята лодырничают. А с Монахова, вишь ты, спрос тоже есть, он отчеты пишет горному начальству. Вот у них и шел с Петром Петровичем спор. Петруха говорит: "Ты с им говори сам, у меня язык не повернется, – он еще плюху, поди, залепит мне!" А Монахов ему на это: "Ты, мол, нарядчик, ты и обязан выговаривать арестантам".

– Что же такое выговаривать? Что я десяти вершков не выбуриваю?

– Ну, стало быть... Тоже прилвпиваешься, сказывают!

– Эх вы, разгильдеево семя! Вы с человека-то две шкуры снять готовы, асмодеи! Ну, а если силов у него нет, у Ивана-то Николаича, так что же ему делать, по-вашему? Голову себе об камень разбить? Ироды!..

– Да вы чего на меня-то скрыжечете? Чего руками машете? Я рази начальство? Я говорю, что слышал... С вами греха еще наживешь, коли язык-то развяжешь.

Я отошел в сторону, искренно огорченный в душе тем, что не подозревал раньше этого закулисного недовольства собою, и твердо решил откровенно поговорить с уставщиком. Кобылка еще, галдела между собой, когда дверь вдруг распахнулась и на пороге появилась толстопузая, краснолицая фигура самого Монахова. Разговоры смолкли, хотя арестанты, как всегда, продолжали держаться в его присутствии развязно, не снимая шапок и свободно расхаживая по светличке. Монахов, питавший неудержимую страсть ко всякого рода "волынкам", не внушал каторге не только уважения, но даже и страха к себе и допускал порой самые фамильярные отношения. Однако сегодня он был надут и, видимо, недоволен малопочтительной встречей; он даже остановился у порога с несколько властным видом. Но через минуту же сказал первый:

– Здравствуйте, ребята!

Немногие отозвались ему. Тогда Монахов, ежась от холода и потирая руки, прошел в угол светлички и молча уселся на лесенке, которая вела в верхний этаж здания – мастерскую плотников. Но и здесь он не мог долго хранить внушительного молчания и, хихикая, начал шутить с арестантами.

– Ты что это, Ногайцев, ровно будто худеть стал? Плоха шелайская баланда, что ли?

Ногайцев, обиженный, отошел прочь, ворча вслух: – Ты бы небось пузо-то толстое тоже спустил! Монахов закатился довольным смехом.

– А ты, Пальчиков, стряпать уж собрался, фартук надел?

Пальчиков, внутренне кипевший с самого утра, как водяной котел над жарко разгоревшейся плитой, вероятно, только и ждал этого обращения к себе. Он тотчас же подлетел к Монахову, комично выставил вперед колени и, волнуясь, захлебываясь и приседая, начал изливать перед ним все свои обиды и претензии. Монахов и на это попытался ответить обычными шуточками и смешками.

– А вот, коли ты настоящий кузнец, так прихитрись пальцем буры наварить! Хе-хе-хе!

– Нет, вы все смеетесь, Андрей Семенович, а я вам в настоящий сурьез говорю: нету моей мочи больше! Назначайте другого кузнеца, а я больше не пойду, коли стали не выдадите.

– Буроносов хоть и не посылай, – загалдели и бурильщики, – два раза ударишь по камню – и сядь бур, хоть верхом на нем поезжай! А на нас тоже, сказывают, серчаете, что мало вырабатываем.

Монахов принял на минуту серьезный вид.

– Потерпите маленько, ребята. Не завтра, так послезавтра сталь, наверно, привезут из Алгачей. И нарядчик новый будет.

– Да, что нам нарядчик? Без стали и двух дней не продержаться; разве ежели уроков не станете спрашивать?

– Какая у вас кузница? – продолжал жаловаться Пальчиков. – В других рудниках у кузнеца завсегда молотобоец есть. А я точно богом проклятый, в кои-то веки на день-другой помощника дадите... Я сам и меходуй, и молотобоец, и мастер. Ни тебе наварить никто не пособит, ни железо побить. Какая тут может быть работа, черная ее немочь возьми! Нет, уж вы, Андрей Семенович, бурить меня сегодня пошлите, а на мое место другого кого поставьте.

– Потерпи и ты, Пальчиков. Вот я уже поощрение скоро, может быть, выдам.

В светличке моментально все стихло: такое магическое влияние имело всегда это слово – "поощрение", или, как произносили арестанты, "почтеление". Помедлив еще немного из приличия, арестанты стали уходить на свои обычные работы. Ушел и кузнец. Монахов все продолжал сидеть на лесенке.

Я подошел к нему.

– Я слышал, Андрей Семенович, что вы моей работой недовольны?

– Как это то есть недоволен? – вспыхнул Монахов. – Думаете, что я ленюсь, а если бы захотел, мог бы больше выбуривать?

Монахов попробовал хихикнуть, но, увидев по выражению моего лица, что я к шуткам не расположен, заговорил иначе:

– Это вам кто же насплетничал, уж не старик ли?

– Нет, не старик.

– Ну так, значит, Петр Петрович. Шельмец этакий! Вы не поверите, он мне все уши прожужжал, что благодаря вашему примеру арестанты ленятся. А я ни разу ничего такого и не говорил... Впрочем, оно точно, я не знаю, как мне быть, что писать в отчетах...

– Это ваше дело. Я могу сказать только, что если вы задумаете требовать, чтоб я выбуривал больше, то мне останется одно – совсем отказаться от всякой работы.

– Ну помилуйте, зачем же так... Да мы вот что сделаем. Пальчиков жалуется, что у него молотобойца нет, – вы сами слышали. Правда, молотобойца в нашем маленьком руднике совсем не полагается, но все же я могу выставить его в отчете. В кузнице мне удобнее вас будет спрятать, нежели в шахте... Хи-хи-хи!

– А что скажет Пальчиков, получив такого помощника? Для молотобойца нужна ведь сила.

– Какая там сила! Буры-то навастривать? Чисто бабья работа. Просто меходуем будете... Да вот пойдете к Пальчикову – я ему представлю вас. Хи-хи-хи!

Мы отправились в кузницу – я, не слишком-то довольный новым своим назначением, Монахов, весело посмеиваясь и покачивая толстым брюхом. В кузнице уже ревел мех. Пальчиков, однако, едва удостоил нас взглядом, когда мы показались в дверях его владений, и только, захватив горсть углей, сердито подбросил их в пылающий горн. Лицо у него все было выпачкано сажей и, озаренное пламенем, казалось прямо зловещим. Маленькая пичужка, в тюрьме вызывавшая со всех сторон одни насмешки, здесь, за своей работой, едва успев облачиться в фартук и развести огонь, Пальчиков сразу как-то преображался и начинал внушать некоторого рода почтение не только рабочим-арестантам (как-никак зависевшим от него), но даже и нарядчику и самому уставщику. Он принимал внезапно властный, в высшей степени самостоятельный вид и своей вечной раздраженностью, воркотней и ужасными проклятиями судьбе, богу, начальству и самому себе невольно заставлял съезживаться и чувствовать себя в чем-то перед ним виноватыми всех, кто только приходил с ним в соприкосновение.

Прежде чем "представить" меня, Монахов попробовал, обращаясь ко мне, пошутить насчет Пальчикова:

– Сколько вот ни было у меня кузнецов, всегда я замечал: как только войдут они утром в кузницу, так прежде всего мазнут себе под носом сажей... Знай, мол, крещеный люд, кто я таков есть! Хи-хи-хи-хи!

Гробовое молчание было ответом на этот смех; продолжалось только гуденье меха да трещанье угольев в горне. Мне стало не по себе, и я конфузливо стоял возле скамейки, на которой сидел обыкновенно молотобоец, раздувавший огонь.

– Ну, вот тебе, Пальчиков, молотобоец, – нерешительно объявил наконец Монахов, переминаясь с ноги на ногу, – он уж постоянно теперь будет у тебя.^[2]

Не глядя ни на Монахова, ни на меня, Пальчиков разразился ужасными проклятиями.

– Какой тут может быть закон? Издохнуть бы мне поскорее, в тартарары провалиться со всеми потрохами своими! Чтоб тебя скореежило в три погибели, черная немочь, тварь проклятущая!

– Да ты кого ж это так ругаешь, братец? Ты бы потише немного! – возвысил несколько голос Монахов.

– А я разве вас ругаю? Не видите разве – уголь сырой ругаю, разгореться никак не может, падло окаянное, черная немочь его возьми и меня вместе с ним! Язва тебя срази! Какого же вы мне молотобойца даете, Андрей Семенович? Нешто он может по железу как следоваит ударить али при сварке помочь оказать?

– Ну все-таки как-никак ударит. Ты чего же так сразу-то? Ты посмотри прежде. Надо же куда-нибудь человеку деться...

И Монахов ушел, оставив меня одного с Пальчиковым. Я притворился в высшей степени равнодушным к его несмолкавшим проклятиям Монахову, назначившему ему горе-молотобойца, и начал оглядываться кругом. Много раз уже бывал я в этой кузнице и в качестве праздного зрителя и в качестве нетерпеливого буруноса, но теперь она представилась мне совсем в ином свете, запечатлевая в памяти все свои мельчайшие подробности. Это был крошечный сарайчик, на живую руку сколоченный из каких-то старых досок, весь в огромных щелях, сквозь которые дул холодный ветер и наметались кучи снега. Мех тоже был старый, весь почернелый и точно с неохотой скрипевший и надувавшийся, когда его дергали за веревку. Горн ("горно") был сложен из кирпичей на живую руку, а железная трубка ("фурмант"), через которую выходил из меха воздух, плохо вмазанная в печку, то и дело выпадала вон и вызывала проклятия кузнеца. Такие же проклятия вызывала и наковальня, помещавшаяся на столбе, плохо врытом в мерзлую землю, и ее так называемый "нос", недостаточно длинный и удобный для разного рода кузнечных поделок. В противоположном углу стояло корыто с замерзшей водой,

служившей для закалки стали. На земле валялась куча буров, которые следовало отвастривать. Я пристальнее взгляделся и в лицо самого кузнеца, на которого прежде не обращал почти никакого внимания. Это был маленький худенький человечек с задорно вздернутым носиком, желчными карими глазками, никогда не глядевшими людям прямо в глаза, и тощей бороде, которую в особо патетических местах речи он потрясал с самым комично-угрожающим видом. Заметив, что в горне заложен бур, я начал дергать мех за веревочку и раздувать огонь.

– Стой!.. – огрызнулся тотчас же Пальчиков, не глядя на меня. – Железо и так горит давно, а он дует... О, чтоб им подохнуть, аспидам, кровопийцам нашим!

Он выхватил из огня бур и, чуть не сунув мне в рот прыскающее искрами железо, положил на наковальню.

– Бей!..

Растерянню заматаившись туда и сюда, я выхватил из его же рук маленький кузнечный молоток и что есть мочи принялся колотить им по буру... Пальчиков плюнул, шлепнул бур о землю и, чуть не плача со злости, разразился страшными ругательствами, которые я не мог, положим, отнести прямо к себе и принять за формальное оскорбление, но которые тем не менее – я чувствовал это – относились не к кому другому. Я стоял растерянный, переконфуженный, совершенно недоумевающий, какое-такое преступление я совершил.

– О, чтоб черная немочь их всех задавила! Потроха его вывались, пузо его толстое лопни! Душа из вас всех вон!

– Чего же вы сердитесь, Пальчиков? Ведь я же не нарочно... Я в первый раз... Потом, может, привыкну, выучусь, – забормотал я виновато.

И тут только глаза мои упали на большой молот, лежавший у самых моих ног, и я вспомнил, что не раз видал, как молотобойцы действовали именно этим молотом, тогда как маленький молоток, который я вырвал из рук Пальчикова, составлял всегда неотъемлемую собственность кузнеца; вспомнив это, я понял, что поступком своим не столько испортил ему работу, сколько оскорбил цеховое его достоинство... Подняв молот, я попробовал было засмеяться, но вышло еще хуже. Забористые ругательства посыпались в пространство новым, еще более обильным градом. Наконец я не вытерпел и сделал Пальчикову довольно резкое замечание, прося быть сдержаннее на язык. Тогда, присмирив немного и помолчав, он вдруг нагнулся ко мне, быстрым движением согнул колени, точно делая реверанс, и, в первый раз взглянув мне в глаза, заговорил с дружеским доверием:

– А вы сами как полагаете, Иван Николаевич, не стоят они того, челдоны желторотые, чтоб им кишки вон выпустить? Галятся, изгнущаются над нашим братом, ровно мы и не люди!

– Да ведь мы в каторге – что же поделаешь?

– Ну, извините, правов-то тех уж нет! Отошли разгильдеевские времена... А по-моему, лучше бы уж он меня порол или в карец сажал, нежели смешочками своими донимал да разными непорядками жилы выматывал. Кажинный раз он все "настоящим кузнецом" меня в рыло тычет, амбицию мою задевает, а сам никаких данных не дает мне эту амбицию оправдать. Спросите-ка всякого, кто на воле меня знал: всякий вам скажет, что не последним мастером Пальчиков был! За мастерство-то свое я, можно сказать, и в каторгу пришел, а здесь у них уж самым последним человеком стал. Говорят, что уж Пальчиков и бура отвастрить не умеет! Да дьявол их заешь, холера их возьми, найдется ли во всей тюрьме кто другой, кто в закале такой смысл имеет, как я? Водянин? Ну уж нет-с! Рылом Водянин-то ваш супротив меня не вышел. Я захочу – до сотни сортов разных закалов вам предоставлю!

– Как это, говорите вы, кузнечное мастерство в каторгу вас привело?

– А так, что я самому генералу Завьялову куражиться над собой не мог позволить и чуть брюха ему не распорол, вот что.

– Вы, значит, солдатом были?

На этот вопрос Пальчиков не ответил. Арестанты, служившие до каторги солдатами ("духами"), вообще почему-то стыдятся своего прошлого и не любят о нем заговаривать; к тому же в Пальчикове успел остыть порыв дружественности ко мне и готовности откровенничать. Он опять разогревал бур и сердито приказывал мне дуть мехом. Я повиновался. Мех опять загудел, и разговор поневоле прекратился. На этот раз, когда дошла очередь до работы молотом, я схватил молот настоящий, но зато так усердно колотил им по буру, несмотря на все сигнальные стуки Пальчикова по наковальне (сказать слово "стой!" он, должно быть, считал для себя унижением), что бур превратился наконец в лепешку. Пальчиков ограничился, впрочем, на этот раз тем, что в сердцах плюнул и снова положил испорченный бур в огонь; но я почувствовал от этого гораздо больший стыд, чем если бы он выразил свой гнев крепкими русскими словами. К концу первого же дня работы в кузнице Пальчиков сделался для меня чистым страшилищем: от малейшего окрика его я вздрагивал и терялся... И много дней понадобилось для того, чтоб я перестал так близко принимать к сердцу эту постоянно кипевшую в моем властителе злобу!

Гудит и ревет мех под моими отчаянными усилиями, то отрывисто стучая и тем вызывая косые, сердитые взгляды в мою сторону Пальчикова, не устающего подбрасывать в горн сырые уголья, то глухо сопя ровными, волнообразными дыханиями, дыханиями какого-то сказочного чудовища, которое вот-вот проснется – и разинет голодную пасть. Руки, дергающие веревку, начинают неметь от усталости; спина тоже страшно устала делать легкие поклоны при каждом взмахе руки; глаза утомились глядеть в пылающий горн, мозг одурел от скучных, монотонных мыслей, скорей похожих на какие-то серые, бессвязные сны, – и страшно хочется уснуть, расправить окоченелые, усталые члены, закрыть глаза, погрузиться в тьму и забвение.

– Дуй!.. – раздается оклик Пальчикова, и набегающий сон живо соскакивает: глаза испуганно раскрываются, и рука начинает энергично дергать веревку.

Угли уже разгорелись. Горн пылает до того ярко, что нет мочи долго глядеть в него. Огненный столб искр взвивается кверху, улетаая в отверстие крыши, заменяющее трубу. Какое несчетное множество этих светящихся точек! Тысячи, мириады их кружатся, вертятся, несутся безумно-бешеным галопом. Вот с шумом и свистом вырвался один ослепительно яркий сноп искр, протанцевал с необыкновенной быстротой какой-то фантастический танец и умчался вверх, а снизу его догоняет уже другой, еще более яркий и веселый рой, за ним еще и еще, и вот целый ряд их слился на миг в один большой поток сине-розового пламени и в яростном веселье помчался к огромному морозному небу, чтобы тотчас же погаснуть там, оставив после себя лишь копоть и дым. Глаза болят, но не в силах оторваться от огненного зрелища, и эти искры кажутся мне уже не простыми мертвыми искрами, выскакивающими из горящей печки, а живыми, сознательными существами: оттого-то так жадно цепляются они друг за друга, оттого так бешено их веселье, так оживленна безумная пляска! Ведь все живое радуется жизни, и пусть коротка, как мгновение, эта жизнь – они возьмут с нее свою долю счастья и потом умрут без гнева и жалобы! О, выходите же, выходите, новые мириады маленьких светлых гномов, веселитесь, глотайте полным глотком ваше радостное мгновение! Какое вам дело до того, что нет видимой цели в этом вечном разрушении и возрождении одних и тех же форм, – ведь жизнь существует для жизни! Да, я уже явственно различаю своеобразные черты у каждого из этих миллионов крошечных, живых духов: одни из них мчатся, лучезарные, жизнерадостные, как майские эльфы, сотканные из эфира и золота, другие, напротив, грустные, скорбно поникшие, с бессильно опущенными крыльями, бледные, словно до срока жаждущие погаснуть и погрузиться в нирвану... Зачем гореть? Не все ли равно – одно или два мгновения?..

– Стой! Бей! Отсекай!

И Пальчиков вынимает из огня длинную, добела раскаленную полосу стали, из которой так и брызжут во все стороны огненные стрелы. Они того и гляди попадут в глаз, и я инстинк-

тивно пытаюсь закрыть лицо рукавицей; однако страх перед грозным Пальчиковым превозмогает это шкурное опасение, и я, схватив поспешно свой молот, начинаю колотить им со всего плеча по наковальне.

– Скорее, скорее бей, вар пропустишь!.. Ох, черная немочь, пропустил, остыла... Изверги они, аспиды проклятые, за что они душу из меня вымотать хотят, какого молотобойца мне подрадели? Лопните шары мои, утроба из меня вывались! Черная немочь, язва сибирская похватай вас всех!

Но опасения кузнеца оказались на этот раз напрасными: "вар" захвачен вовремя, и мои отчаянные удары молотом по "зубилу" достигают своей цели; от большого куска стали отсекается меньший кусок, который тотчас же опять опускается в горн, большой же отломок при беспрестанных подозрительных оглядках на дверь кузницы проворно засовывается рукой Пальчикова в холодную золу сбоку горна. Тут только я спрашиваю себя с недоумением: откуда же взялась эта сталь, когда еще недавно жаловались на ее отсутствие? Между тем разогретый кусок опять вынимается из огня и, к моему удивлению, под искусным молотком кузнеца превращается постепенно в маленькую подкову из тех, какие носят на сапогах щеголи-солдаты. Я догадываюсь, в чем дело. В кузнице появляется вскоре и сам будущий обладатель подковок, уса́тый урядник, старший конвоя.

– Ну что, готово? Молодец, паря, славно сробил... Ну, я тебе после заплачу, у меня теперь нет... Вчерась последние Любке отдал.

– А сколько пропало уж у меня за вашим братом, – недовольно ворчит Пальчиков, – Бурцеву вон сколько я делал. Корецкому опять – и чтобы шиш какой получил! А тут еще уставщик, глядишь, поймает, натерпишься из-за вас... Скажут, мы с Иваном Николаичем воры!

– Ну, не беспокойся, брат, за мной-то не пропадет. И прежде чем я успеваю опомниться, урядник уходит, опустив подковки в карман. Но тут я принимаю очень свирепый вид и говорю Пальчикову:

– Вы как же это так сказали: "Мы с Иваном Николаевичем воры"? Ведь вы же хорошо знаете, что я здесь ни при чем?.

Пальчиков без всякой видимой нужды усиленно разгребает железной лопаточкой уголья в горне.

– Чего я сказал? Какое тут может быть воровство? Работаешь, работаешь, как дохлая кляча, и не моги огрызок стали взять? Чтоб их черная немочь всех побрала! Велика, подумаешь, корысть. Вы видели – много с них возьмешь, с духов проклятуших.

– Велика ль, не велика ль корысть, а только меня путать в это дело не смейте!

– Не смейте... Что же, доказывать, что ль, на меня станете? Где это видано, чтоб на своего брата арестанта доказывали? И какие еще люди, нашей ли шпане чета!

– Доказывать я не стану, вздора вы не говорите, а только повторяю: меня больше не смейте путать. Я решительно ничего не вижу и не знаю, так и помните. Казенную ли, другую ль какую работу вы делаете – мне дела нет. Слышите?

– Дуй!

Я вижу заложенным в горне маленький бур и принимаюсь опять за несомненно уже казенную работу.

Положение дел после этой маленькой ссоры не изменилось, впрочем, ни на йоту. Пальчиков продолжал на моих глазах красть и самым нахальным образом врать уставщику и товарищам-арестантам. Я стоял в стороне и делал вид, что ничего не вижу и не знаю. Однако, когда бывало, Пальчиков при мне клялся и божился всеми богами, что сталь у него вышла вся до последней крошки, а уставщик или нарядчик называли его и шутя и серьезно вором и обманщиком, мне становилось каждый раз не по себе, точно и сам я был безмолвным соучастником его лжи и воровства, и именно это обстоятельство было самой неприятной для меня стороной работы в кузнице. Тем более что у меня не хватало характера еще раз устроить Пальчикову

сцену, а он, казалось, вскоре забыл и думать о моем гневе: по крайней мере развязность его доходила до того, что, стоя во время работы спиной к двери, он нередко говорил, обращаясь ко мне:

– Поглядите-ка, Иван Николаевич, в щелку, как бы кто не вошел ненароком.

И, точно загипнотизированный этой развязной дерзостью, я молчал и покорно глядел в щелку...

Появившийся вскоре новый нарядчик был, впрочем, в достаточной мере неглупый человек, чтобы не подозревать меня в соучастии в кражах кузнеца. Это был тот самый надзиратель Петушков, на которого Безымённых сочинил некогда убийственную эпиграмму:

Как шкелет, сухой, ледащий,
Он поет, поет без слов,
И прозвание подходяще,
Лаконично: Петушков!

Петушков был грамотный, довольно по-своему начитанный и, главное, слишком амбициозный человек для того, чтобы мог долго ужиться под началом такого деспота, как Лучезаров, и едва только открылась вакансия горного нарядчика, как он променял на нее место надзирателя и теперь ужасно либеральничал по адресу тюремной администрации.

– Ну, как изволите поживать, Прокопий Филиппович? – иронически обращался он к нашему старинному знакомцу, своему недавнему сотоварищу, приводившему арестантов в светличку. – Много ль новых карандашей, иголок нашли в тюрьме? Каково вас начальник прохватывает?

Бледное, бритое лицо Прокофия Филипповича взглядывало на Петушкова строгими серыми глазами, и ни один мускул не вздрагивал усмешкой.

– Мы живем по инструкции, – сухо и кратко возражал он, – мы поступаем, как велит закон.

– Ха-ха-ха-ха! – закатывался Петушков. – И это тебе закон тоже велит, халудора тебя заешь, под козырек делать и тянуться, когда он ни за что ни про что ногами на тебя топчет?

– А ты разве в военной службе не служил?

– Так то, чудак ты этакий, служба отечеству, долг гражданина; а теперь ты ведь за деньги служишь?

– Ты сам служил.

– Служил, да и ушел. Нет, уж я топать на себя ногами не дозволю! Я человек, брат, самостоятельный!

Прокофий Филиппыч, или Проня, как называли его промеж себя арестанты, недовольный, отходил прочь, а глядевший победителем Петушков лукаво кивал на него в сторону сочувственно улыбавшейся ему кобылки. Видимо, он всеми силами стремился установить с последней добрые отношения, а со мной прямо-таки заигрывал. Когда все арестанты расходились по своим работам, он заглядывал в кузницу и здесь целыми часами болтал со мной о всевозможных, пустых и важных материях.

– О, да тут студено, халудора! – наконец не выдерживал он. – Пальчиков один управится, подьте-ка, Иван Николаич, в светличку, я чтой-то скажу вам.

– Если что неважное, так, может быть, после?

– Нет, очень сурьезное дело.

Я шел за ним в светличку. Усевшись там на бауле и усадив меня рядом, особенно если у печки не грелся никто из конвойных (старика сторожа он не стеснялся), Петушков начинал таинственным голосом, переходя на дружеское "ты":

– И охота же тебе, Николаич, жить в этакой участи! Один ведь Проня Живая Смерть, чего стоит; вида его выносить не могу! Да и другие надзиратели тоже хороши. Ну, а начальник опять? А арестанты? Ну, а разве тут место этакой голове, как твоя? Тебе б где-нибудь книжки сидеть писать аль, может, в самом Питенхбурге в больших чиновниках служить, а ты... какому-нибудь теперь Пальчикову, халудоре, должен мехом дуть! – А что ж делать? Взялся за гуж...

– Нет, я бы знал, что делать.

– Бежать, что ли? Да ведь вы не поможете, Ильич?

– Ну, зачем бежать! – нахмурился Ильич. – Нет, а вот прошение подать! Я б на твоём месте каждый божий день двадцать прошений писал, и уж которое бы нибу́дь беспрёменно вывезло... Уж так и быть, скажу тебе: я от самого Лучезарова слышал – начальство того только и ждёт, чтобы ты пощады просить зачал. И часто мы, надзиратели, промеж себя говорили: да ведь самому черту можно, кажись, поклониться, лишь бы только на волю выйти! Ну, убудет тебя, что ли?.. А Лучезаров про тебя говорит: "Это скала, говорит, а не человек!"

– А знаете что, Ильич, ведь скала-то есть хочет. Не пора ли чай варить да рабочих скликать?

– Что же, кличте, пожалуй, – сухо отозвался Петушков, явно недовольный тем, что я уклонялся от разговора по душе.

Тайком от арестантов и даже от старика он предлагал мне нередко участвовать в своих собственных завтраках, которые приносили ему жена или дочь и которые состояли из шанег с творогом или сибирских колобов,^[3] и очень каждый раз огорчался, когда я наотрез, бывало, отказывался от этих роскошных яств. Вообще, признаюсь, я никогда не мог уразуметь настоящего смысла всех этих дружеских подходов ко мне Петушкова, принимавших порой прямо сентиментальный характер; временами я сам чувствовал к этому человеку глубокую симпатию и полное доверие, временами же, подозрительно настроенный, готов был считать его не больше как хитрым политиканом, не имеющим за душой ничего, кроме личных, честолюбивых целей и интересов. Так, при всем своём словесном либерализме на деле он был изрядным трусом, и как ни просили его арестанты, со своей стороны, не препятствовать им покупать у светличного старика тайком от надзирателя вольную типцу, пирожки, картошку и прочее, он очень редко, и то с большой неохотой, глядел на эти запретные, завтраки сквозь пальцы, за кулисами пугая даже старика отказом от места.

– Ребята, да неужто ж бы я прекословил, кабы моя власть была? – душевным, дружеским тоном говорил он кобылке, – какой может быть вред от пищи? Для чего морить людей на постной баланде? А только подумайте сами: ну, вдруг донесется? Из вашего же брата найдутся такие... И мне и вам самим что хорошего тогда будет?

– Да уж об нас-то ты не беспокойся, Ильич. Нет, просто сказать, потрухиваешь ты, и все ведь по-пустому, потому это дело надзирателя за нами следить, а никак не твое.

– Неладно вы судите, ребята. Сами знаете, как ненавидят меня надзиратели... Один этот Проня Живая Смерть, чисто съесть меня готов, халудора его побери! Сейчас скажут, что я потакаю вам. Ну, сменят меня, другого нарядчика поставят, вам разве лучше станет? Сами видите, у меня душа есть, я во всем готов человеку уважить, где только можно. Надо только опаску завсегда иметь. – Той же политики держался он и в вопросе, о работе, добром и лаской убеждая арестантов, ради его душевных качеств, работать побольше и получше...

Была суббота, холодный, ненастный день того же марта месяца. Пронизывающий ветер дул во все щели нашей убогой кузницы, бросая в лицо снежную пыль, а над порогом наметая целые сугробы снега. Мех гудел с каким-то особенно злобным шумом, изрыгая из пылающего торна столбы бешено пляшущих искр; не хуже его изрыгал Пальчиков потоки своих обычных проклятий, а я, съезжившись под холодной арестантской шубой, молчаливый и ко всему на свете безучастный, не уставал кланяться и дуть мехом. Ноги нестерпимо зябли, и мне казалось в такие часы, что начинает застывать и самый мозг, что я превращаюсь постепенно в глыбу

бездушного камня, веками лежащего на одном месте без цели, без дум и желаний... В этот день я был почему-то особенно мрачно настроен и не обращал ни малейшего внимания на то, что Петушков уже несколько раз подозрительно вертелся возле меня, точно желая сообщить что-то и в то же время колеблясь. Наконец, когда Пальчиков, взяв корзину, вышел за дверь кузницы, чтобы принести новый запас углей, он быстро нагнулся ко мне и прошептал:

– Сегодня!

Я равнодушно посмотрел на него.

– Говорю, сегодня...

– Что такое?

– Прибудут.

– Кто прибудет?

– Да будто не знаешь?.. Двое... товарищев тебе. Один, рассказывают, дохтур, такой, мол, дохтур, что у нас в Сибири и не видали таких. А сам вовсе еще молодой. Вот не могу только припомнить, чьих он, халудора его возьми... Фамилия-то трудная, не русская... Ну, вспомнил, вспомнил: Штенгор! А другой – Башуров. Не знаю, кем этот был, а только, надо быть, тоже из больших дворян, в ниверситете служил. Ну да, словом сказать, не нашей кобылке чета, а прямо говорю – товарищи тебе. И как только, скажи ты мне пожалуйста, этакий народ в каторгу попадает? Ах, чтоб вас язвило!

– Да вы правду говорите, Ильич?

– Ну вот еще врать стану!

У меня перехватило дыхание и потемнело в глазах... Я опустил поспешно на скамейку. Пальчиков вернулся с полной корзиной углей. Петушков беспокойно метался по кузнице, видя, какое сильное впечатление произвел на меня своим сообщением. Из-за спины кузнеца он пристально глядел на меня и делал умоляющие жесты. Я понял, что он просит держать новость в строгом секрете, и кивнул головой в знак согласия.

– Ах, халудора!.. – излил он свои чувства в любимом словечке и торопливо удалился в светличку.

Неописуемое волнение между тем овладело мною. Я считал часы, минуты, когда должны были окончиться горные работы, и то и дело забегал в светличку посмотреть, не вернулись ли рабочие из шахт; Петушков старался при этом не глядеть на меня – и вел о чем-то оживленную беседу с казаками. Очевидно, он трусил и порядком раскаивался в том, что сболтнул мне великую тюремную тайну... Я чувствовал, как у меня дрожали колени и приятный озноб пробежал по всему телу, когда арестанты наконец выстроились и, по обыкновению, очертя голову понеслись по направлению к тюрьме. Я всегда внутренне сердился на эту торопливость, но сегодня мне казалось, напротив, что мы бежим все еще недостаточно быстро. Скоро мне стало жарко, так что я расстегнул шубу. И застывший мозг начал оттаивать – светлые, бодрые мысли наполнили его, точно горячие лучи вышедшего из ночного тумана солнца... Недавно еще чувствовал я себя почти стариком, бессильным и жалким калекой, а теперь был опять молод и силен, опять хотел жить, надеяться, верить!

И снова горячо любил мир, где всего несколько часов назад видел одну лишь бесцельную и бессмысленную сутолоку явлений, – любил жизнь и людей, которых недавно еще презирал, как жалких, цепляющихся за свое жалкое существование, смешных марионеток!

– Еще поживем, еще поборемся... – шептал я про себя, все ускоряя шаги и почти наступая на ноги шедших впереди конвойных. – Теперь-то легче будет жить... с товарищами!..

II. Желанные гости

Когда горная партия подошла к тюрьме, от внимания ее не ускользнуло, что среди стоящих у ворот казаков есть два-три новых, "нездешних" лица и что в караульном доме также происходит какое-то движение.

– Братцы, а ведь партия, надо быть, пришла?

– Да вон, смотрите, и подвода стоит! Ну, стало же, и партия – полтора человека с ребром... Обыскивают.

Самые зоркие, умевшие не только через окно, а даже, как говорила кобылка, сквозь штык видеть, узнали тотчас же и все подробности обыска.

– Двое!.. Молодой и старый... Молодой – белый, старый – чернявый... Ну и вещей же, вещей, братцы мои, разбирают – разобрать не могут. Надо думать, не из простых, потому и одежда господская. Смотрите-ка, смотрите, часы золотые с одного сымают... Они думали, молодчики, что, как в другой тюрьме, всё в камеру пропустят, в вольной одежде ходить дозвоят... Нет, шалишь! Шестиглазый всех уравнивает! Поживите-ка на шелайской баланде, а вещи – в чихаус пожалуйста!

– Ребята, да у них книги! Это уж не Миколаичу ль товарищи будут? Вот славно-то. Может, опять Чичикова привезли?

Таковыми замечаниями перебрасывались между собой вслух арестанты, пока надзиратель обыскивал нас, как всегда, подле окна караульного помещения, где происходила приемка новичков. Но любопытство шпанки не было слишком напряжено, и, как только ворота растворились, она, что дождь, рассыпалась по камерам, торопясь обедать.

Я остался один у ворот. Затворявший их надзиратель осклабился.

– Чего ждете?

– Кто принимает новичков?

– Каких новичков?

– Ну, чего же хитрить? Все равно сейчас узнаю. Начальника нет?

– Нет, только старший один. Сию минуту выйдут.

И точно, несколько минут спустя из караульного дома вышла целая толпа людей, и в воротах тюрьмы появились две фигуры новичков-арестантов. Я бросился к ним со словами приветствия... Но, к моему удивлению, старший надзиратель, он же и эконо́м – красный как кирпич, смешно шепелявивший толстяк – тотчас встал между нами и, громко запротестовал:

– Нельзя, естё нельзя! Начальник сетяс плидет, нам наголит!

Его поддержали другие надзиратели, тоже поднявшие крик. Я поневоле ретировался. Новички осматривались вокруг с растерянностью и недоумением. Грубая форма обыска, очевидно, уже произвела на них свое действие, и оба глядели затравленными волками; жалкий, комичный вид придавала им и только что надетая, мешковато сидевшая арестантская одежда. Я с жадностью вглядывался в лица, отыскивая в них интеллигентные, симпатичные черты... Кобылка не ошиблась: один, совсем еще юноша, был блондин, другой, значительно старше, брюнет. Блондин показался мне коренастым и широкоплечим; у него было безусое, моложаво розовое лицо с большими, полными доброты глазами; он был взволнован и явно смущен первыми шелайскими впечатлениями... Его товарищ, высокий худощавый мужчина с шелковистой черной бородою, напротив, скорее – раздражен; темные глаза его сердито глядели из-под густых, почти сросшихся у переносья бровей; он и на меня тоже смотрел с недоверием и ни разу не улыбнулся... "Ну, этот со мной не сойдется, пожалуй, – невольно подумал я с грустью, – он-то, должно быть, и есть доктор".

Когда надзиратели взошли с арестантами на крыльцо тюрьмы перед главным коридором, молодой человек обернулся в мою сторону (я шел сзади, в некотором отдалении) и, улыбнув-

шись, послал мне воздушный поцелуй; но товарищ его даже не оглянулся, весь погруженный в свои мысли. Затем оба скрылись в дежурной комнате, где их заперли в ожидании прихода Лучезарова. Когда надзиратели после этого удалились, я подбежал к замкнутой двери, и тут между мной и заключенными произошел первый торопливый, отрывочный, но оживленный обмен вопросами.

– Как ваша фамилия? – слышался суровый голос, очевидно, старшего из новичков.

Я назвал себя.

– Как! Вы-то и есть Иван Николаевич? Это правда? – Почему вы так удивляетесь? Представляли меня иным?

– Нет, я сейчас же догадался, что это, должно быть, вы, – отвечал молодой голос.

– А я почему-то думал, – сказал первый, – что вас здесь нет и мы будем совершенно одни с арестантами.

– Ах, вот почему вы показались мне таким страшным и неприветливым!

– Ваша тюрьма нагоняет ужас!

– Погодите, это еще начало только...

– Лучезаров, говорят, зверюга?

– Господа, а ведь я-то ваших фамилий еще не знаю.

– Да, да, конечно; я – Штейнгарт, Дмитрий Петрович Штейнгарт, студент-медик четвертого курса.

– А я – Валерьян Башуров, юрист-первокурсник.^[4]

– Вы, значит, очень еще молоды?

– Да, конечно... Двадцать два года...

– Да и вас, Дмитрий Петрович, кобылка напрасно, кажется, стариком окрестила?

– Разве уже окрестила? Впрочем, что же, мне двадцать восемь лет, и кое-где есть уже седые волосы...

Мы перебросились затем несколькими фразами о делах, за которые очутились в Шелае, и опять перескочили к данному положению вещей. Лихорадочно быстрые вопросы так и перебывали один другой.

– Что здесь всего неприятнее? Шапочный вопрос?

– Ага, вы уж слыхали!

– Какие у вас отношения с арестантами?

– И с начальством?

– Постойте, господа, на столько вопросов сразу невозможно ответить.

– Вы не ответили: точно ли такая зверюга Лучезаров, как про него говорят? Как вы посоветуете нам держаться с ним?

– Можно ли тут вообще жить?

– Как видите, я жил... А теперь, с вашим прибытием, и подавно стану жить!

– А нельзя ли с вами в одну камеру попасть?

– Если Лучезаров будет с вами любезен – попросите его об этом.

– Будет ли он с нами на ты? Мы хотим в таком случае отвечать ему молчанием. Вы как думаете?

Но, прежде чем я успел сообщить свои мысли об этом предмете, на дворе раздался пронзительный, тревожный свисток, возвещавший о вступлении в тюрьму начальника, и я поспешил удалиться в свою камеру. Однако волнение мое было так сильно, что к обеду я не притронулся. Прием кончился скорее, чем я ожидал, и новый свист возвестил об удалении Шестиглазого. Тогда я бросился опять в коридор и увидел уже идущими мне навстречу Штейнгарта и Башурова, с мешками казенных вещей в руках. Здесь мы впервые обнялись и расцеловались... Высыпавшая из камер шпанка с любопытством и сочувствием наблюдала эту сцену.

– Ну, как и что? В какие камеры назначены?

– Представьте, Лучезаров был необыкновенно любезен, джентльмен да и только! Произнес маленькую речь в похвалу своей гуманности и тюремной опытности и советовал нам одно: терпеть, терпеть и терпеть! Кроме того, выразил большую радость по поводу того, что я медик и могу быть полезен в тюрьме.

– Да, ваша слава как замечательного доктора заранее здесь гремела.

– Я получил этот титул уже в Сибири, во время этапного путешествия, от благодарных пациентов. На самом деле, я уже говорил вам, я всего лишь студент четвертого курса...

– Говорили вы с Лучезаровым о камере?

– Как, же. С большим удовольствием согласился, чтоб я поселился вместе с вами, Валерьяну же назначил другой номер. "У меня, говорит, общее правило: по возможности дробить на мелкие части все группы, какие только могут замечаться среди арестантов, – татар, скопцов, раскольников..." – "Позвольте, – спрашиваем мы, – да ведь мы не татары и не скопцы?" – "Вас, – отвечает, – я назову группой образованных людей".

Я ввел новых своих товарищей в мою камеру, и арестанты тотчас же, не дожидаясь просьбы, схватили у них из рук мешки и кинулись очищать на нарах место рядом с моей постелью, а когда узнали, что один только Штейнгарт будет жить здесь, стали выражать сильное огорчение.

– И чего им помешало, варварам, всех троих вместе поселить! Нар, что ль, не хватило? – возмущался приятель мой Чирок. – То-ись во всем вреду одну видят, утеснить везде норовят!

Я порекомендовал Чирка вниманию новичков, как старинного своего сожителя, с которым очень дружен.

– Должно быть, он без вины попал сюда? – спросил Валерьян Башуров. – И по лицу видно сейчас, что честный человек!

– Ну, как вам сказать, – засмеялся я, – арестанты почему-то говорят про его честность: черт его чесал, да и чесалку сломал.

– Вишь ведь какой вредный человек этот Миколаич! – обеими руками заскреб свою голову Чирок. – Как меня перед товарищами своими ремизит! Не верьте ему, не верьте – первый во всей тюрьме волынщик!

– Вы тоже учить нас будете, как Иван Николаевич, – подошел к новичкам, заискивающе улыбаясь, Луньков. – Вы не знаете, у нас тут ведь целое училище основано, господа, и я в нем первый ученик.

Сохатый презрительно фыркнул в своем углу, но промолчал.

– Одна беда, – продолжал Луньков, – Иван Николаевич прилениваться что-то зачали, не каждый вечер нас обучают.

Я рассказал Штейнгарту и Башурову о своей школе; она их живо заинтересовала. А когда я заговорил и о бывших одно время в тюрьме чтениях вслух, арестанты поддерживали меня громким сочувственным ропотом, стали ворчать и ругать Шестиглазого даже те, кто очень мало интересовался, бывало, книжками.

Между тем Чирок вызвался сбегать в кухню заварить для нас чаю. Я дал ему свой котелок, в который засыпал чай, а сам повел товарищей в камеру, назначенную местожительством Башурова. Жившие там арестанты встретили нас с тем же гостеприимством, причем произошел приблизительно такой же обмен мыслей, как и в моей камере. Здесь жил, между прочим, и общий староста Юхорев.^[5] Он тотчас же появился возле нас и, развязно и дружественно поздоровавшись за руки с новичками, уселся рядом и вступил в разговор. Представительная наружность Юхорева, открытый, умный вид и гигантский рост произвели, видимо, на них внушительное впечатление, и они долгое время Недоумевали, с кем имеют дело. Человек этот действительно мог производить такое впечатление. Он весь, казалось, состоял из одних мускулов, могучих и крепких, как сталь; большие серые глаза глядели отважно и решительно, и трудно было, вынести их прямой пронзительный взгляд; длинные усы окаймляли энергично очерчен-

ные губы. Зато подбородок, круглый и несколько выдающийся, а также и щеки всегда тщательно выбривались с помощью стекла или тайных арестантских бритв. Лоб был замечательно низкий, и в середину его правильным треугольником вдавались жесткие черные волосы. Это придавало смуглому длинному лицу суровый, почти свирепый вид, хотя нисколько не уменьшало впечатления большого, неоспоримого ума, видневшегося в каждой черте и в каждом жесте этого сильного человека. Будучи совершенно неграмотным, Юхорев говорил так умно, плавно и даже красиво, пересыпая свою речь массой оригинальных эпитетов и поговорок, что если последние не были чересчур откровенны, то вы могли беседовать с ним битый час и даже не догадаться, что имеете дело с простым, необразованным мужиком, а не с каким-нибудь баринской руки, земцем, помещиком. Непреклонная воля чуялась во всей этой железной, богатырски скроенной фигуре, в ее порывистых и вместе сдержанных движениях, в быстрой, всегда торопливой, легкой походке. Дорисовывая внешнюю физиономию Юхорева, скажу еще, что я был однажды немало удивлен, увидав в бане его голую спину, покрытую густыми, мохнатыми волосами... "Вот богатая пища для ломброзоических выводов!"^[6] – невольно подумал я.

Арестанты поголовно уважали и боялись Юхорева, но отнюдь не потому только, что он был старостой, и я не видал случая, чтобы кто-нибудь серьезно сцепился с ним, вступил по какому-либо поводу в грубую перебранку.

Впрочем, Юхорев и не терпел противоречий. С мелкой шпаной, которой случалось чем-нибудь прогневить его, он расправлялся по-своему: быстро вскакивал с нар и своими жилистыми руками гиганта начинал, не говоря худого слова, мять и тузить (сопротивление было, конечно, немислимо), так что жертве оставалось одно – обратить ссору в шутку или молить пощады. С "серьезными" арестантами Юхорев держался зато в высшей степени политично и осторожно.

– Ваши вещи, господа, – обратился он к моим товарищам, – отнесены в чихаус. Я сам и положил. Если что нужно достать, мне только шепните. Я ведь часто хожу туда с косноязычным чертом и что угодно сумею взять – не заметит. "Ты съмотли у меня, Юхолов, не стяни цего". А я, покамест он в одно место глаза таращит, рыжий пентюх, я уж в двадцать сторон успел повернуться. Раз! Раз! – и готово, взял, что мне нужно. В одном из ящичков лежат там у вас, я видел, чернила, перья, почтовая бумага... Только глазом моргните мне!

Мы поблагодарили Юхорева за любезное предложение, но отклонили его.

– С Лучезаровым у меня тоже дружба... Я ведь каждый день ношу ему в контору пробный обед – ну и тут разговоры у нас всякого рода происходят. Наливаю ему, само собой, так, чтобы жиру плавало больше сверху... Вот Иван Николаевич по этому случаю претензию мне раз высказывали: зачем я так делаю? Надо, мол, напротив, самый худший сорт пищи начальству показывать... Но это потому только, господа, что Иван Николаевич – не в обиду ему будь сказано – десять лет проживет в тюрьме и все-таки ничего не поймет в нашей сволочной жизни! Ум их не тем вовсе занят, вот они и думают, что правдой можно всего добиться. А я по опыту знаю, что все заботы начальства о нашем брате – одно только показание вида. Как мы есть для него каторжные, варнаки, так и. будем ими до скончания века! Ведь что ж, пробовал я показывать и настоящую баланду. Затопает ногами, зарычит: "А! ты, значит, вор!" Скажите на милость – вор. Да чтоб ему самому и на том и на этом свете так наживаться от воровства, как я здесь наживаюсь! Небось без штанов ходить будет. Я не спорю – я ворую, но только не у своего брата; довольно с меня и того, что эконо́м прозевывает, когда к весам с ним хожу. Вот, господа, после такой ерунды я и решил носить Шестиглазому на пробу один только верхний навар. И теперь мы живем друзьями. Жалко, что баня у нас сегодня не топлена, печку поправляют. Ну уж зато в следующую субботу я самолично вас, господа, выпарю, так выпарю, как, пожалуй, сам губернатор не парится... Ха-ха! Баня – это моя, можно сказать, специальность.

– Однако Чирок уж, пожалуй, заварил нам чай, – поднялся я с места, – пойдемте, господа!

Юхорев тоже вежливо встал.

– Значит, мы будем с вами на одних нарах лежать, в товарищах жить, – обратился он к Башурову. – Вот и отлично. Об чае никогда не будете заботиться: у меня тут сто дьяволов найдется к услугам в кухню сбегать. Эй ты, чувырло чухонское! – крикнул он вдруг на арестанта, лежавшего рядом с постелью Валерьяна. – Убирайся-ка отсюда подобру-поздорову, я тут лягу!

– А мне тут разве худо? – пробормотал чувырло. Но Юхорев, как кошка, прыгнул на нары, и не успел арестант опомниться, как уже перелетел вместе со своей подстилкой на другое место, а подстилка Юхорева очутилась рядом с башуровской. Кобылка одобрительно загрохотала; подумав немного, рассмеялся и потерпевший, решив, что благоразумнее всего отнестись шутиливо к своему невольному *salto mortale*...¹

Рассмеялись и мы, выходя вон из камеры.

– Что это за личность? – спросил меня Штейнгарт.

– Общетюремный староста, второй здесь царек после Лучезарова.

– Оно и видно. Но разве староста пользуется такой властью?

– Не всякий, конечно, но этот, как сами видите, не из дюжины.

– Он кажется мне очень симпатичным. А вам? – спросил Башуров.

– Ничего себе... Впрочем, я очень мало его знаю, не приходилось жить в одной камере.

Чирок уже оборудовал свое дело, и котелок о чаем, приправленным, как оказалось, невесть откуда взявшимся молоком, стоял на нарах, укутанный со всех сторон халатом.

– Чтоб не стыл, – сказал Кузьма, осклабясь и услужливо раскутывая чай.

– Ну, значит, пируем, господа! – пригласил я гостей. Но только что началось пиршество, как дверь шумно растворилась, и в камеру вошел, в шапке набекрень и в франтовато накинутом на плечи халате, улыбаясь во всю рожу и как-то уморительно выкидывая в стороны колени, тюремный скоморох и дурачок Карпушка Липатов. Рыжие, как морковь, волосы, такая же рыжая борода, выходящая из-под шеи и оставлявшая голым подбородок, некрасивое веснушчатое лицо с небольшим вздернутым носом и плутоватыми серыми глазами, потешные ужимки и чисто канканные телодвижения – все было в Карпушке своеобразно и в высшей степени забавно. Одни из арестантов считали его прямо сумасшедшим, другие, напротив, хитрым пройдохой, находившим выгодной роль дурачка. Трудно было решить этот вопрос, тем более что Липатов вовсе не стремился к тому, к чему стремились обыкновенные тюремные симулянты, то есть к освобождению от работ и к помещению в больницу. Иногда, попав туда, он начинал очень скоро рваться обратно в тюрьму, а на работе был скорее излишне трудолюбив, чем ленив и хитер.

– Здравствуйте, господа поштенные, – начал Карпушка, присаживаясь с нами рядом, – не примете ль и меня в вашу хеврю? Я ведь тоже дворянская кровь, потому – хоть мать у меня и мещанка, а отец-то был чиновник.

– А как же вы говорили, Липатов, что отца и не видали никогда, что вы – незаконный?

– Я и теперь не говорю, что я законный, а все ж хоть и не с того боку, а кровь-то дворянская свое обозначает. Верно я говорю! У меня ведь и обличье-то настоящее дворянское... Нешто можно меня сравнить вон с его аль с его харей? – кивнул Карпушка в сторону арестантов. Последние захохотали.

– А я ведь по делу пришел-то к вам, господа. Который тут из вас, говорят, дохтур есть?

– Ну, положим, я, – отозвался Штейнгарт.

– А позвольте узнать, как величать вас?

– Дмитрий Петрович.

– Так вот с тобой, Митрий Петрович, мне нужно с руки на руку поговорить.

Карпушка при этом многозначительно подмигнул.

– В чем же дело? Или вы стесняетесь посторонних?

¹ Буквально: смертельный прыжок (итал.)

– Нет, мне чего стесняться! Я нигде не обробею! Я и самому Шестиглазому на каждой поверке все свои мысли выражаю. Вот жду еще не дождусь окружного дохтура, с ним тоже хотелось бы словечком-другим перекинуться.

– У вас болит что-нибудь?

– У меня внутри настоящая-то боль сидит. Видите ли, Митрий Петрович, я так полагаю, у меня косточки одной в спине нет. А фершал здешний, Землянский,^[7] говорит: "Врешь, собачий сын, у тебя есть косточка". А какое там есть, когда я хорошо знаю, что нет.

– Знаете что, Липатов, – предложил я, – вы в другое время когда-нибудь посоветуетесь с Дмитрием Петровичем: тогда он хорошенько осмотрит вас. А теперь он, видите, с дороги, дайте ему покой. Мы и сами-то не успели еще поговорить как следует.

– И в сам-деле, пошел вон, Карпушка! – закричали на него арестанты. – Чего ты дурочку-то из себя оказываешь? Проваливай восвояси!

Карпушка равнодушно плюнул в сторону и продолжал сидеть.

– Хитрые вы, Иван Миколаич, спулить от себя Карпушку хотите. Вам-то – поговорить меж собой, в хевре своей чайку напиться, а у меня, можно сказать, о жизни аль смерти дело идет. Говорю, косточки у меня в спине нет! Я сказываю фершалу: давай ты мне настоящей ханании, такой, чтобы она, значит, болезнь из костей вон выгоняла. А он, цыганская его морда, калидатом да калидатом все меня пичкает! А калидат – я знаю, что такое. Он ведь болезнь в нутро, в кости вгоняет...

– Это что же такое за калидат и какой-такой ханании ему нужно? – в недоумении обратился ко мне Штейнгарт.

Мне уже достаточно известен был Карпушкин словарь, и я объяснил, что хананией он называет, по-видимому, хину и вообще всякое лекарство, а калидатом – кали-йодат.

Штейнгарт и Башуров громко засмеялись, их поддержал и сам Карпушка.

– В том-то и дело... Вот сейчас видно, что дохтур настоящий – все понимают. Я уж знаю, что они мне настоящей ханании пропишут. Сейчас замечаешь хорошего человека, не то что Иван-Николаевич; проваливай, мод, Карпушка Липатов! Ты к моей хевре не подходишь... А почему я не подхожу? У меня тоже дворянская ведь кровь. Вот дали бы вы мне, господа, чайку дворянского испить. Байховый чай – он, знаете, хорошо тоже по жилам расходится, особенно ежели с молоком. Лучше всякой ханании.

Дали Карпушке чашку чаю. Своей беседы нам так и не удалось вести: скоро послышался свисток дежурного и его же взволнованный крик по коридору:

– Вылазь на поверку! Скорей на поверку! Сам начальник будет!

Лучезаров давно уже не появлялся на поверках собственной персоной, и сегодня готовилась, очевидно по случаю прибытия новичков, – торжественная церемония.

– Любезен-то он любезен был с вами, а поугубить все-таки хочет, – заметил я товарищам, выходя с ними на двор тюрьмы, и поспешил предупредить относительно того, что следовало делать во время поверки.

С Башуровым мы тут же простились, думая, что до утра уже не увидимся больше. Он направился к своей камере, которая "строилась" в другом конце длинной арестантской шеренги. Там Юхорев тотчас же принял его под свое покровительство, поставив за своей могучей спиной. Повел и я Штейнгарта на то место, где шевелились наши сокамерники. Всегдашняя моя пара – Чирок уже стоял в переднем ряду, поджидая меня и энергичной бранью прогоняя всякого, кто по забывчивости пытался занять позади его мое место. Впереди Штейнгарта, стоявшего рядом со мною, вытянулся гигант Петин.

Надзиратель беспокойно метался перед строем арестантов, делая им предварительный счет. И только теперь ударил звонок на поверку; но и после звонка мы мерзли еще около пяти минут, а Шестиглазый все не показывался.

– Выстойку нам, как хорошим жеребцам, делает, – острили неунывающие арестанты.

Наконец за решетчатыми воротами произошло движение, и на глазах у всех появилась величавая фигура в большой мохнатой папахе и широко развевающейся шинели. Мы трое уже стояли давно без шапок. Распахнулись широко ворота. Точно проглотивший аршин, надзиратель проревел неестественно зычным голосом слова команды:

– Смир-р-на! Шапки дол-лой!

Сотня голов моментально с шумом обнажилась. – Шапки надеть! – торопливо, почти не дав кончиться надзирательскому крику, произнес Лучезаров.

– Продолжает быть любезным, – шепнул я Штейнгарту и с любопытством посмотрел на товарища. Я заметил, как лицо его потемнело и то и дело поддергивалось нервными судорогами... Лучезаровская любезность, очевидно, мало утешала его. Дальнейшая часть поверки прошла с обычной помпой по раз установленной форме и, к счастью, без всяких неприятных инцидентов. Наряда на работы не читалось, так как день был субботний.

– По камерам шагом мар-рш! – прогремела заключительная команда, и ровным ритмическим шагом попарно арестанты двинулись к тюрьме. Штейнгарт шел впереди меня, бледный и сумрачный, понуря голову. В коридоре к нам подбежал Валерьян Башуров.

– Это ужасно, господа! Какое унижение! – прошептал он, конвульсивно стискивая себе пальцы рук. Юношески розовое лицо его от волнения еще более разругалось. Штейнгарт упрямо молчал.

– А разве вы лучшего вдали, господа? – сказал я успокоительным тоном. – Глядите на эти вещи философски. Если можно, запаситесь даже юмором...

Мы еще раз пожали друг другу руки и расстались. В камере между тем арестанты опять выстроились в шеренги. Мы с Штейнгартом, как и прежде, встали позади Чирка и Сохатого, возле своих нар.

Дверь быстро распахнулась, человек пять надзирателей влетели как ураган, и один из них прокричал обычное:

– Смир-р-на!

Внушительно замедленными шагами вошел Лучезаров, окидывая пытливым взглядом лица арестантов и, видимо, кого-то отыскивая. Упитанное, румяное лицо его, по обыкновению, чуть-чуть улыбалось иронически; в бравом штабс-капитане не произошло вообще никакой перемены с тех пор, как читатель видел его в последний раз, за исключением одного только: он носил уже полные капитанские погоны, и это обстоятельство, конечно, придало ему еще больше внушительности и величавости.

Наконец он увидал Штейнгарта и, приблизившись, молча подал ему письмо, которое вынул из бокового кармана. Затем круто повернулся к надзирателям и произнес сердито:

– Вы слышите запах? Есть тут запах?

– Не можем знать, господин начальник, – подобострастно ответил кто-то в нерешительности.

– Как не можете знать? Носа надо не иметь, чтобы не слышать! Гадкий, отвратительный запах!

– Да, оно точно, чижоловатый воздух, господин начальник, – согласился тот же надзиратель.

Тяжелый запах в нашей камере за последнее время сделался почему-то предметом постоянных наблюдений и раздражения бравого начальника. Он слышал его даже в такие дни, когда у нас подолгу стояла открытой форточка и когда атмосфера других камер, наверное, была вдвое удушливее, и ни за что ни про что распекал и надзирателей и несчастного старосту. Точно так же и теперь он бросился за перегородку, где помещались камерные параша. За ним последовала и вся свита.

– Откройте! – услышали мы оттуда повелительный голос начальника. – Понюхайте!.. Нет, вы понюхайте хорошенько!

Слышно было, как надзиратели один за другим подходили и нюхали. Кобылка, тихонько смеясь, переглядывалась.

– Вот что! – заговорил Лучезаров, появляясь опять в камере. – Староста и парашники плохо знают свои обязанности. Мало чистоты и порядка! Смотрите, я строго буду взыскивать.

И быстрыми шагами почти выбежал в коридор; со стуком и грохотом проследовала за ним свита, дверь захлопнулась, и замок щелкнул. Арестанты зашумели, засмеялись и принялись за свои обычные беседы и занятия.

Штейнгарт, склонившись над столом, читал при тусклом свете лампы полученное письмо, и мрачное лицо его с густыми нахмуренными бровями напоминало мне первый момент нашей встречи. Сердце мое болезненно сжалось... Я чувствовал себя опять одиноким, ревниво размышляя о том, что у этого человека есть и всегда будет свой особый мир, в который я никогда не проникну и в котором он будет страдать и радоваться один, замкнуто и молчаливо. Я лег в свой угол, предаваясь этим грустным думам; а товарищ долго еще сидел над письмом, чтение которого, по-видимому, давно было окончено. Затем, поднявшись, он стал ходить в глубокой задумчивости взад и вперед по камере. Луньков и Сохатый, разложив свои тетради, сидели за столом и переругивались.

III. Рассказ Штейнгарта

Было уже совсем поздно. Арестанты, не исключая и учеников, давно исправно храпели, когда Штейнгарт, взобравшись на нары, начал устраивать свою постель рядом с моею.

– Вы еще не спите, Иван Николаевич? Знаете, от кого я письмо сегодня получил? – неожиданно вполголоса заговорил он, заметив, что я не сплю; и, взглянув ему в лицо, я радостно вздрогнул: опять оно было светлое, доброе, и темные глаза сияли из-под разглаженных бровей как две звезды, обливая меня теплыми, ласковыми лучами.

Я, конечно, не знал, от кого было письмо. От матери? Сестры?

– Нет, от невесты, – сказал Штейнгарт грустным, растроганным голосом. – Вот уж никак не надеялся! Сегодня во время приемки Лучезаров прямо заявил, что будет выдавать письма только от ближайших и несомненных родственников, все же остальные сохранит у себя вплоть до нашего выхода на поселение. Это, мол, закон, нарушить который невозможно. И вдруг – приносит вечером это самое письмо... Признаюсь, Иван Николаевич, за этот великодушный поступок я многое готов простить Лучезарову и с очень многим в его режиме примириться!

– Да, я видел, какое впечатление произвела на вас поверка.

– Ужасное! Но... знаете ли, о чем просит меня невеста? Впрочем, мне уж хочется все рассказать вам, всю нашу грустную повесть. Конечно, это личные муки и радости, и вам они покажутся, быть может, неинтересными...

– Что вы, Дмитрий Петрович! Я боюсь только, что не заслужил еще подобного доверия с вашей стороны.

– Нет, я чувствую, вам можно довериться... Все, от сердца сказанное, вы сердцем же и примете. Для меня же... Я так устал про себя таить свои думы и муки!

– А Валерьян Михайлович? Разве с ним вы не дружны?

– Видите ли... Я очень люблю Валерьяна, но мы с ним не друзья. Он слишком еще юн, и в нем есть черты, которые не располагают к излияниям. Ну, словом, вы сами потом узнаете. Во всяком случае, моя интимная жизнь ему известна лишь в самых общих чертах. Прежде всего, знаете ли вы, что я еврей?

– Вы еврей? Никогда бы этого не подумал! Да и ваше имя...

– Ну, имя-то ничего не значит. По-настоящему я вовсе не Дмитрий, а Мордух, и не Петрович, а Пейсехович, но ведь это так дико звучит по-русски... Однако, скажите откровенно, Иван Николаевич, в вас ничего нет юдофобского?

Я засмеялся.

– К счастью, нет. Могу сказать это положа руку на сердце. Я родился и вырос в северной глуши, где и евреев-то почти нет. Поэтому, когда я поступил в Петербургский университет, то каждого черного хохла, говорившего "хадость" вместо "гадость" – принимал долгое время за еврея. И после того у меня было несколько лучших товарищей и друзей из евреев.

– Очень рад. Вы снимаете с моего сердца тяжелый камень. Поверите ли, Иван Николаевич, какие подлые вещи творятся теперь на Руси! Образованные, интеллигентные, по-видимому, люди не стесняются громко и открыто произносить слово "жид" и высказывать презрение и ненависть к евреям. Тем больнее все это видеть и слышать человеку, который, будучи, как я сам, евреем, в сущности ничем, кроме происхождения, не связан с родным племенем. Но когда со всех сторон летят в этот несчастный народ плевки и камни, то можно ли спрашивать, что я должен чувствовать и кого любить?... Да, этот проклятый еврейский вопрос был проклятием и моей личной жизни!.. Вы слушаете меня?

– Я весь внимание.

– Итак, расскажу вам свою историю.^[8] Я был еще студентом второго курса, когда познакомился с теперешней моей невестой. Мне было двадцать три, Елене двадцать лет. Оба мы

проникнуты были тем "святым недовольством", о котором говорит Некрасов, – одинаково восторженны, наивны, молоды душой... Этим все сказано – и как и на какой почве создавался наш роман. Помните ли вы весенние петербургские ночи, эти чудные белые ночи с их фантастическим колоритом и болезненной грустью, точно разлитой кругом в воздухе? Помните ночные катанья в лодках по Неве и по взморью в компании других таких же восторженных мечтателей? Или – зимние студенческие вечеринки с шумной пляской и отважными песнями? Впрочем, я лично с наибольшей любовью вспоминаю теперь другую картину. Мне рисуется комната Елены на Песках, маленькая, уютная комнатка... На столе давно потух самовар, а мы до полночи сидим при свете лампы и ведем бесконечную беседу, О любви? О нет, реже всего и меньше всего о любви! Всё важные и серьезные материи: мы перестраиваем жизнь человечества, решаем судьбы мира, собираемся идти на великий подвиг служения народу... Случалось, Елена вспоминала наконец, что ей нужно учить лекции, что и мне самому не мешало бы подумать о том же; тогда она принималась гнать меня домой. Мы начинали прощаться, но, прощаясь и держась уже за руки, опять увлекались надолго то серьезной беседой, то чисто ребяческой болтовней. Я стоял все время у порога комнаты, совсем уже одетый, и мы никак не могли расстаться, десять раз подавая друг другу руки и десять раз возобновляя беседу. Обо всем мы тогда поговорили, обо всем передумали, одно только позабыли, что я – еврей, а она – православная... Все в наших отношениях представлялось нам так просто и ясно: мы полюбили друг друга и, значит, всю жизнь будем идти рядом, рука об руку, "без размышлений, без борьбы, без думы роковой"...^[9] Мысль о законных узах не являлась нам по той лишь причине, что сердца наши, бывшие в унисон, парили в то время чересчур высоко для забот об эгоистическом личном счастье; а может быть, мы и отгоняли бессознательно неприятный вопрос... Елене казалось своего рода кощунством перемена веры не по убеждению, хотя бы и ради любви; меня страшила, кроме того, необходимость нанести жестокий удар старухе матери, безумно меня любившей, но преданной староеврейским заветам и преданиям. А жизнь между тем не медлила и разрешила вопрос по-своему. Когда меня в одно прекрасное утро арестовали и посадили в крепость, Елена не только не была допущена ко мне на свидание, но и сама арестована и выслана на родину. Переписки нам также не разрешили... Я приходил в ярость, безумствовал, не зная – что с Еленой, жива ли она, свободна ли. Вы знаете, конечно, это чувство, когда готов бываешь разбить череп о холодные, каменные стены!..

Но, Иван Николаевич, человек – безгранично терпеливое, возмутительно выносливое животное, и я тоже все вынес, ни с ума не сошел, ни головы себе не разбил, остался жив и здоров. А между тем целых два года прошло. Наконец меня осудили в каторгу и перед отправкой в Сибирь перевели в Дом предварительного заключения. После абсолютного одиночества крепости мне показалось, что я попал в шумный водоворот жизни: по коридору то и дело слышались шаги, голоса, живые голоса живых людей; по всем направлениям стен, точно неугомонные дятлы, перестукивались заключенные... Ну, да ведь вы сами знаете – нечего об этом рассказывать. Но, признаюсь, долгое время меня страшно раздражал этот шум, и я с искренним сожалением вспоминал о своем прежнем тихом гробе. С переводом в предварилку, я мог бы, конечно, немедленно написать Елене – и я знал это, – но писать и не думал. Я давно почему-то решил, что она разлюбила меня и, наверное, вышла уже замуж. Вначале, когда мне приходили в голову такие мысли, мной овладевало бешенство, я ревновал, плакал, грозил; но с течением времени примирился с "неизбежным законом женской природы", как с горечью называл это. "Вот мужчина, – думалось мне, – другое дело! Если бы и двадцать лет пришлось мне ждать, я нашел бы в себе достаточно любви и силы, прождал бы!"^[10] И вот однажды дверь камеры растворяется, надзиратель подает мне депешу. Не веря глазам, читаю: "Телеграфируй Томск смотрителю тюрьмы, скоро ли будешь выслан. Останусь ждать. Люблю, помню. Твоя Елена". Телеграмма была из Тюмени.

От радости я чуть не лишился чувств... Ледяная кора прорвалась, и спавший под ней мертвец ожил. Весна, весна! Воскресение!.. В тот же день я послал ответ, в котором, к сожалению, не мог точно указать время своей отправки.

В первую минуту я не огорчился даже тем, что и Елена высылается в Сибирь, что и она лишена свободы. Я не забыт, я любим! Мы опять увидимся – а вчера еще свидание казалось возможным лишь за могилой! Бесконечное число раз перечитывал я телеграмму и, забывая, что почерк чужой, целовал дорогие строки... Так в блаженном чаду провел я несколько дней... Добрая! Верная! Как мелок и пошл казался я сам себе с своими недавними упреками и подозрениями! Теперь я боялся лишь одного: что, если телеграмма моя опоздает и уже не застанет Елены в Томске? Мне представлялись тысячи случайностей, которые могли расстроить наше свидание и снова сделать его несбыточной грезой...

Высылка моя состоялась лишь две недели спустя, в конце июля, и только в половине августа баржа наша подплыла наконец к таинственному Томску. Рассказать, как волновался я в то памятное утро, я не в силах. Для меня совершенно не существовало тех обычных тревог, какими мучились товарищи: как будут встречены они новым начальством, какого рода обыск предстоит и пр. Я весь ушел в одну мысль: здесь ли Елена? Как-то встретимся мы после двухлетней разлуки? Не дожидаясь, пока партию пустят во двор тюрьмы, я бросился к вышедшему смотрителю. Угрюмый, неприветливый старик с видимой неохотой сказал мне, что Елены в тюрьме нет, – телеграмма моя была получена ею своевременно, но никакого вопроса об оставлении в тюрьме она не поднимала.

"Она здорова?"

"Вполне... Очень даже веселая барышня!"

Пришибленный, пристыженный, отошел я от смотрителя, и мне почудилось, что он насмешливо и как бы с соболезнованием посмотрел мне вслед... Старые демоны проснулись в душе: значит, я забыт, я забыт! И так скоро!..

Между тем рассказы о веселой барышне-арестантке встречали меня в тюрьме на каждом шагу.

"Ну и безунывная же... Прямо душа-человек! – отзывались о ней с теплым сочувствием старые, выдавшие виды бродяги. – Всякого-то она приветит, приласкает, со всяким пошутит, посмеется".

Это был знакомый облик, поражавший меня еще на воле: даже в минуты уныния, среди чужих, Елена умела казаться бодрой, беспечной, и серебряный смех ее звучал так громко и часто, что никому и в голову не пришло бы в это время подумать, что она страдает. Своеобразный, знакомый облик! Но теперь я забыл все это и твердил одно: "Весела, шутит, смеется, когда..."

С Томска, как вы помните, начинается уже настоящий этапный путь, пеший вояж... И вот не прошли мы и нескольких шагов первого же станка, как из кучки товарищей, шедших впереди меня и мирно беседовавших с провожавшим партию офицером, долетела до моего слуха фамилия Елены. Я вздрогнул и прислушался к разговору, в который до тех пор не вникал.

"Я вам говорю, господа, что с этим народом нужно ухо остро держать. Чуть зазевайся только, сейчас "секим башка!" – и пошли в ход ножи. Ведь посмотрите вот, как пострадала ни в чем не повинная, прекрасная девушка!" – так ораторствовал толстенький офицерик с добродушным открытым лицом и уже седенькой бородкой.

В мгновение ока я был подле него.

"Что с ней случилось, капитан, бога ради, что такое?"

Я видел, как мои товарищи усиленно моргали офицеру глазами, кашляли, но он ничего этого не замечал и с большой любезностью согласился повторить мне свой рассказ.

"Да разве вы не слышали об истории, которая произошла в Халдеевском этапе? Это второй отсюда этап".

"Ничего не слышал".

"Черкесы взбунтовались в партии и давай полосовать русских ножами. А один железными наручнями как ударил Елену Н. по голове так, говорят, полчерепа и отхватил!"

Весь мир завертелся в моих глазах, и я как сноп повалился на землю. Когда я очнулся, товарищи и сам простодушный капитан, уже знавший о том, что он рассказывал мне о моей невесте, стали меня успокаивать, утешать.

"Да вы же не дослушали меня, – смущенно объяснял маленький капитан, – я не сказал ведь, что она умерла... Да и насчет полчерепа я это так, для картинности больше, так сказать, выразился... Ну какие там полчерепа! Кожу только оцарапал немного. Уверяю вас, что она жива и здорова".

Но успокоить меня, разумеется, было не так-то легко, тем более что кобылка, до которой также дошел слух о бунте черкесов, рассказывала историю совсем иначе: черкесы будто бы ворвались ночью в камеру женщин, и последние спасены были только подоспевшим конвоем, убившим нескольких азиатов на месте; в свалке была будто бы ранена и одна женщина...

Понятно, что подобная версия могла лишь еще больше встревожить и напугать меня. Во сне и наяву грезилась мне Елена, бледная, истекающая кровью, и минуты казались нескончаемыми часами...

Только прибыв через двое суток на Халдеевский этап, я мог сам убедиться в преувеличенности своих тревог и опасений. Напугавший меня добродушный капитан немедленно привел начальника халдеевской команды, и тот лично заверил меня, что невеста моя жива и вполне здорова. Дело было так. Один из черкесов повздорил с русским арестантом и так сильно пырнул его ножом в живот, что несколько дней спустя тот умер, но зато и сам черкес был ранен в голову. Елена пошла перевязывать раненых, и в это-то время разъяренный горец, подняв обе руки, закованные в наручни, хотел ударить ими по голове стоявшую поблизости подругу Елены. Последняя еле успела подставить под удар свою руку. Рана причиняла сильную боль, но опасности не представляла, и Елена уехала с партией дальше.

Этот рассказ подтвердили и солдаты халдеевской команды и старик каморщик; сомневаться в его верности было невозможно.

"И ведь какая веселая барышня, – неизбежно прибавляли все рассказчики, – еще смеется после того! Ей говорят: "Не подходите вперед на сто шагов к этому зверью". А она: "Не беда, говорит, видно, очень уж его раздражили, беднягу. На его месте, может быть, и вы бы хватили первого встречного". И что же вы думаете? Нарочно ходила после того к дверям секретной, куда засадили черкеса, и спрашивает его: "За что ты ударил меня? Я тебе же рану хотела перевязать". Ну, он – зверь, так зверь и есть: глядит исподлобья, ровно съест хочет... "Бедные" они! Вздернуть бы их всех на первой осине – и вся недолга!..."

А напугавший меня старичок капитан, весело потирая руки, все говорил мне.

"Ну вот видите... А то полчерепа! Эка, батенька, влюбленное-то воображение что нарисует! Хе-хе-хе... уж извините меня за откровенность".

Он, очевидно, и забыл уже, что нарисовало это не мое, а его собственное воображение.

Только в Ачинске получил я впервые известие от самой Елены, телеграмму из Красноярска: "Здорова, жду". Это были для меня дни, полные какого-то блаженного опьянения. Последние станки, несмотря на тяжелые кандалы и непривычку к ходьбе, я почти не присаживался на подводу и шел, не чувствуя утомления, по двадцати верст пешком; если же и садился, бывало, отдохнуть, то немедленно вскакивал на ноги: мне все казалось, что подводы двигаются слишком медленно, и я спешил туда, где впереди партии шли лучшие из каторжных ходяков.

В Красноярск мы прибыли в яркий солнечный день. Как сквозь туман, помню прощание с товарищами предшествующей партии, стоявшими у ворот тюрьмы и в этот поздний час только что собиравшимися выступить в дальнейший путь. Почти каждый из них, улыбаясь, пожимал мне руку и поздравлял с тем, что сейчас я увижусь наконец с Еленой. А я дрожал

как в лихорадке и лишь машинально отвечал на все предлагаемые вопросы. Решительно не понимаю, как это случилось, что я очутился во дворе тюрьмы, когда остальная партия оставалась еще за воротами; я взбежал на указанное мне кем-то тюремное крыльцо, спотыкаясь и путаясь в гремящих кандалах, и тут же, в дверях, столкнулся с бледной, худенькой девушкой, принявшей меня в объятия... Когда я очнулся, мы сидели уже в маленькой камерке, в которой жила Елена, и беседовали. Впрочем, эта первая беседа после трех лет разлуки скорее походила на бессвязный ребяческий лепет... Помню, я долго стеснялся снять свою арестантскую шапку и показать Елене бритую голову...

Кажется, Данте сказал, что всего тяжелее в минуты горя вспоминать дни блаженства? Вот и мне теперь мучительно больно. Буду поэтому краток. Мы все время думали, что стоит мне немедленно креститься, и нам позволят обвенчаться и мы уже не расстанемся больше... И как же мы были поражены, когда узнали, что каторжным позволяют жениться лишь по окончании какого-то там испытываемого и исправляющего срока, и что для меня этот срок – семь лет! Иркутск был конечным пунктом, до которого нам предстояло идти в одной партии, и новая разлука наша, разлука на целых семь лет, отсрочивалась всего на два месяца... Блаженные и вместе страшные это были месяцы, когда мы непрерывно чувствовали висящий над головами дамоклов меч. В Иркутске мы, по обычаю, посажены были в различные отделения – я в мужское, Елена в женское, которое было где-то на другом дворе. Видеться нам удавалось только во время прогулок по тюремному садику. Все говорило о близкой разлуке, все наводило на мрачные размышления и предчувствия. И разлука подошла совершенно неожиданно. Раз вечером, в половине декабря, к воротам тюрьмы подкатила тройка, и меня пригласили в тюремную кузницу для заковки в кандалы (перед тем врач распорядился временно расковать меня). Много стоило мне уломать смотрителя привести туда же Елену, чтобы мы могли проститься, и в то время как я сидел на полу кузницы, а кузнец возился около меня с молотком, заклепывая наглухо кандалы, я услышал знакомые торопливые шаги... Мы словно поменялись в этот вечер ролями: прежде я все время был уныл и мрачен, Елена же – бодрa и весела на вид; ее вечный серебристый смех и кажущаяся беззаботность насчет будущего порой даже раздражали меня... Теперь, в виду так неожиданно нагрянувшей и ничем уже неотвратимой беды, я, напротив, чувствовал себя сильным, смелым, я говорил слова утешения и надежды, а в ее затуманенных, потемневших глазах дрожали все время крупные, светлые слезы... До тех пор я ни разу в жизни не видел ее плачущей... Из кузницы она пошла провожать меня и за ворота тюрьмы – смотритель не счел почему-то нужным протестовать. Никогда не забуду того морозного, торжественно-тихого вечера; звезд на темном небе горело видимо-невидимо... Когда я сел наконец в повозку рядом с двумя усатыми конвоирами, продрогшая тройка почти сразу дернула и сумасшедшим галопом помчалась в снежную даль. Обернувшись я долго кричал что-то Елене, не помню что: мне все казалось, что между нами осталось что-то недосказанное, невыясненное и в то же время необыкновенно важное... Должно быть, я кричал какие-нибудь пустяки! Долго еще казалось мне, что я различал в сумраке звездной ночи, как возле белой тюремной стены у фонаря стояла знакомая, грустно поникшая фигура...^[11]

Штейнгарт замолчал, и я чувствовал, что вот-вот он не выдержит и разразится рыданиями. У меня самого не отыскивалось утешающих слов. Я спросил только:

– Вы знали, разлучаясь, что вам не позволят вести официальную переписку?

– Да, конечно, знали, хотя на всякий случай (он, как видите, и представился) Елена обещала изредка писать. Вообще же мы условились переписываться через одну из моих теток, женщину образованную и давно посвященную в наши отношения. Живет она в Минске. Итак, подумайте, Иван Николаевич, через сколько времени я буду получать известия об Елене, а она обо мне? Не раньше как в пять месяцев письмо совершит это кругосветное путешествие!^[12] Да, Лучезарову за передачу этого письма я ужасно благодарен; должно быть, и его оно тронуло... А я, Иван Николаевич, чувствую, что все во мне переменилось... Елена требует во имя нашей

любви, чтоб я вытерпел здесь все, что только не затронет моего человеческого достоинства, – и я исполню ее желание.

– Так вот в чем секрет, что Лучезаров передал вам это письмо! – неосторожно вырвалось у меня.

Штейнгарт задумался.

– Пожалуй, вы правы... Ну да все равно! Я буду терпеть все, что только не затронет нашего человеческого достоинства. Ведь вы же терпели? Они терпят!

– Ну, о них мы еще успеем поговорить, теперь не время... да и не место, – прибавил, я по-французски, – вон Луньков, кажется не спит.

Мы еще поболтали некоторое время. Штейнгарт выразил вслух удивление тому, что так разоткровенничался со мной.

– А разве вы жалеете?

– О нет! Нисколько!

Он горячо пожал мою руку.

– Я чувствовал, – сказал он задушевно, – мертвец над мертвецом не станет смеяться... Знаете ли, Иван Николаевич, мне все время так и кажется, что это-то и есть так называемый "тот свет" – мир, в котором мы живем теперь с вами. И я рассказывал вам сегодня о своей земной жизни, далекой и навек уже невозвратной!

После этого мы замолчали и решили попытаться заснуть.

Но сон долго еще не шел. Выслушанный рассказ пробудил в душе столько давно уснувшего, позабытого... Глубокая, жгучая тоска охватила меня... Штейнгарт также до поздней ночи ворочался с бока на бок на своей жесткой постели.

IV. По-новому

Свисток надзирателя прервал мой сон на самом интересном месте. Мне снилось, что я еще гимназист, юноша лет четырнадцати, что в шумном классе я сижу одинокий и нелюбимый товарищами. Все смотрят на меня с насмешкой и явным пренебрежением, хотя причина этой насмешливости ускользает от моего сознания. Мне горько, мне бесконечно обидно несправедливое отношение ко мне товарищей, но я бы всем пренебрег, все бы вынес, если бы заодно с ними не был и тот, в кого я влюблен со всем пылом первой юности, кого считаю недостижимым для себя образцом, идеалом ума, героизма и талантливости. Кто, собственно, этот любимый товарищ, я не могу дать себе ясного ответа: в его лице есть и черты дав" о мной забытые, черты какого-то действительно существовавшего у меня гимназического друга, и черты совсем новые, мучительно мне знакомые. Вот профиль строгого бледного лица с насупленными черными бровями... Ах, почему он не хочет смотреть на меня, зачем отворачивается? Неужели и он так же ошибочно понимает меня, как все, не знает того, что я один разгадал его душу, один могу искренно и пламенно любить ее. Под влиянием моего пристального влюбленного взгляда юноша вдруг поворачивается в мою сторону... Я жду встретить сердитые темные глаза, прочесть гнев на этом строгом лице, и вместо того – боже! Передо мной лицо, все залитое слезами... Добрые, любящие глаза смотрят с трогательной мольбой, дрожащие руки протягиваются ко мне.

– Дмитрий! – вскрикиваю я, бросаясь в его объятия и сразу вспоминаю имя.

Но он уклоняется, он прикладывает палец к губам, умоляя о молчании... Нам обоим грозит страшная опасность. Один звук может погубить нас обоих... И я сразу вспоминаю, что мы в каторжной тюрьме, оба несчастные, всеми покинутые... Кругом ночной мрак и какая-то высокая каменная стена, за которой живет Елена и откуда мы должны похитить ее, чтобы вместе бежать... Мы тихо крадемся, держась за руки и ежеминутно вздрагивая... И вдруг – яростный смех раздается сзади, стук ключей, бряцанье ружей... Все погибло! Мы открыты, узнаны и некуда деться! Я узнаю сердитые голоса Лучезарова, надзирателей, Юхорева...

– В карцер отвести их! Наручни подать! В ужасе я просыпаюсь.

– Вставай на проверку, вставай!

Со свистом проходит по коридору надзиратель... Я схватываюсь за голову, силясь что-то вспомнить – не то очень дурное, не то очень хорошее.

– Да, я ведь не одинок больше среди этого ужаса. Со мной товарищи...

О, как я счастлив! Какая бодрящая сила разливается внезапно по всем, жилам! Прочь сомнение и отчаяние! Теперь есть цель в жизни – облегчить страдания дорогих людей, только что начинающих тяжелое каторжное поприще, людей непривычных, слабых, не закаленных в испытаниях...

– Дмитрий Петрович! – окликаю я Штейнгарта. – Вы тоже уже проснулись?

Штейнгарт сидит на своей постели и нервно, поспешно одевается. Но ответить он не торопится и не то сердито, не то сконфуженно отворачивается в сторону.

– Куда вы так спешите?

– А как же... сейчас проверка?

– Утром проверка делается в коридоре. Это облегчение давно уже завоевано... После свистка двери камер откроют только через двадцать минут. Тогда и успеем накинуть халаты: а затем, в виду того, что сегодня нерабочий день, можно будет и еще часика полтора соснуть. Ну, как вы провели ночь? Что во сне видели?

– Спал плоховато и всевозможную чепуху видел. Лучезаров будто бы учитель латинского языка в нашей гимназии и поставил мне единицу!

– Да, он теперь частенько будет вам сниться. После поверки мы, однако, не уснули больше и, повалявшись немного в постелях, отправились в камеру Башурова проведать, как он жив и здоров. Мы столкнулись с ним в коридоре – он, в свою очередь, шел навестить нас. Прогуливаясь втроем по коридору, мы стали делиться ночными впечатлениями.

Башуров жаловался на убийственную атмосферу в камере, на процедуру поверок, на общую тягостность тюремного режима, но зато был в большом восторге от арестантов, от состава своей камеры.

– Я представлял их себе гораздо хуже, судя по дорожным впечатлениям, – говорил он. – Но там, в пути, условия жизни до того ненормальны, что, собственно, и спрашивать многого с людей нельзя. Все там чужды друг другу, сегодня идут вместе, а завтра пойдут розно; трудно даже характер человека настоящим образом вызнать. А здесь другое дело. Люди живут вместе годами и невольно сдружаются.

– Ну, особенной дружбы вы и здесь, пожалуй, не увидите, – заметил я расхолаживающим тоном. – А кто же больше всего понравился вам из сожителей?

– Прежде всего, как юмористический элемент, Карпушка Липатов.

– Советую только не поощрять особенно его болтовни, а то он сядет вам на шею и вы потом от него не отвяжетесь.

– Ах, какой же вы, право, Иван Николаевич... суровый человек! Я уж и вчера заметил, что вы с ним чересчур строги. Он милый, этот Карпушка... Представь, Дмитрий, из-за чего он вчера со всей камерой поссорился. Я просил отворить форточку, и староста отворил, я он встал посередине камеры в позу и протестует: "Это вы все, мужичий род, в конюшнях воспитывались, так нам и нужен чистый воздух, а во мне дворянская кровь течет, мне чистого воздуха не надо". И так потешно выговаривает он эти слова: "дворянский", "Двиньск" (место его родины) и пр. Смеху сколько было над ним! В конце концов стал просить у меня сахара и табаку, но тут Юхорев (вот властный человек этот Юхорев!) как подымется с нар, да прикрикнет на него... И, мой Карпушка в угол тотчас же, на свое место! Вообще вся камера производит отрадное впечатление, прежде всего выдержкой в обращении, солидностью, разумностью. Просто, забываешь, что имеешь дело с каторгой, а не с обыкновенным русским народом. И какая жажда к учению, к знанию. Представьте, у меня вчера же составила целая школа, чуть не полкамеры учеников набралось! Интересно, как вы глядите, Иван Николаевич, на этих людей! Мне кажется, теория Ломброзо возмутительна, в сущности, бездушная теория! На самом деле большинство наших по крайней мере преступников точь-в-точь такие же, как все русские люди, и только случайно какое-нибудь стечение обстоятельств толкает их на путь преступления.

– Право, не знаю, Валерьян Михайлович. Живу здесь вот уж два с половиной года, но обобщений никаких не возьмусь пока делать.

– Ну разумеется, мы с вами не ученый диспут ведем, но все же очень важны первые впечатления. Например, хотя бы взять Юхорева. Теперь он считается каторжным, разбойником, а разберите-ка суть дела, скажите: при других условиях разве не мог бы он стать вожаком какой-нибудь гарибальдийской банды, борющейся за возвышенный принцип? У него даже и внешность-то скорее общественного протестанта, чем уголовного преступника!

– Внешность у него, правда, внушительная, но все-таки трудно сказать, что было бы, если бы было... Пока что он – разбойник, и ничего больше.

– Не совсем. Вы разве не знаете, за что он попал в каторгу с олекминских приисков? Он был там спиртоносом. Конечно, не бог знает какое это возвышенное занятие, но все же и не ужасное какое-нибудь. Казаки хотели отнять у него с товарищами золото, он оказал смелое вооруженное сопротивление...

– А из России за что он попал в Якутскую область?

– Его ведь общество сослало в Сибирь, и если верить его собственному рассказу, – а он, кажется не вралъ, – общество это состояло из порядочных скотов. Он же защищал интересы

бедноты. Во всяком случае, человек это несомненно замечательный. Представь себе, Дмитрий, безграмотный в сущности мужик, а знает наизусть огромную защитительную речь, которую написал ему один якутский же ссыльный. Юхорев должен был произнести ее на суде, но ему не позволили. Речь действительно недурная и очень смелая. И как энергично, как выразительно произносит ее этот разбойник, как называет его Иван Николаевич!

Я вспомнил, что Юхорев и мне собирался несколько раз прочесть эту речь, но все не выходило подходящего случая.

– Валерьян! – послышался вдруг с другого конца Коридора громкий возглас легкого на помине Юхорева. – Чаевать ступайте, все готово!

– Сейчас, сейчас, – откликнулся несколько сконфуженный Башуров и поспешил в свою камеру.

Штейнгарт заметил, что я немного поморщился.

– Вы, по-видимому, недолюбливаете этого Юхорева? – спросил он меня.

– Я объяснил, что нахожу во многих отношениях неудобным для нас допускать слишком большую фамильярность не только с Юхоревым, занимающим должность артельного старосты, но и вообще с арестантами, с людьми совершенно иного нравственного склада. Штейнгарт задумался.

– Боюсь, что Валерьян доставит нам в этом отношении хлопоты. У него вообще есть недостаток – то без причины завязывать с людьми слишком дружеские, почти интимные отношения, то вдруг без видимой же причины отталкивать их от себя. Конечно, не от дурного чего-нибудь это происходит у него, а так – от молодого легкомыслия... И, кроме того, он довольно самонадеян и самомнителен. Вот он уже прочел вам сегодня легкую нотацию насчет вашего якобы жесткого отношения к людям и, вероятно, искренно думает про себя, что сам он не таков, что он способен всех этих людей без исключения по-братски любить, прощая им все их недостатки. А о том он и забыл, что вы уже прожили здесь без нас целые годы и мы застали вас любимым и уважаемым всем тюрьмой; мы же только начинаем свое поприще, и кто еще знает, что мы сделаем, как уживемся с этим народом?

После этого мы отправились в свою камеру тоже пить чай. Было воскресенье, и арестанты весь день то занимались беспробудным сном, то принимались по двадцати раз за чаепитие. Местами перекидывались в картишки, местами велись вялые разговоры на давно истощенные темы. Темы наших разговоров были неисчерпаемы. Не успев досыта наговориться об одном предмете, мы уже бросались к другому, третьему и так далее до бесконечности. Мне пришлось, впрочем, вначале больше слушать, так как, прожив столько времени вдали от живого мира, я сгорал нетерпением узнать, что произошло в этом мире за годы моего отсутствия... Но едва только удовлетворена была в общих чертах моя любознательность, как рассказчиками овладевало тоже вполне законное и понятное любопытство относительно подробностей ожидающей их в Шелайском руднике жизни, и я, в свою очередь, из слушателя превращался в рассказчика. Взявшись втроем под руки и прогуливаясь по коридорам тюрьмы, мы весь день провели таким образом в самой оживленной беседе. Я спросил, между прочим, товарищей об их денежных средствах. Оказалось, что оба они рассчитывали получать от родственников по двадцати рублей ежемесячно.

– Отлично! – воскликнул я. – Почти столько же могу получать и я. Но, пока я жил здесь один, эти деньги были мне почти ни к чему, так как помогать всей тюрьме на такую ничтожную сумму невозможно, а пользоваться ими одному тяжело и неприятно. Теперь, если вы согласитесь, мы устроим дело так, что вся тюрьма будет жить в материальном отношении сносно.

– Разве это мыслимо при бюджете в шестьдесят рублей?

– А вот судите сами. Тюремное население не превышает обыкновенно ста двадцати человек, в редких случаях достигая ста пятидесяти и больше. Прежде всего арестанты страдают от отсутствия табаку. Полутора фунтов махорки в неделю совершенно достаточно для одной

камеры, в качестве прибавки к тому табаку, который арестанты могут выписывать сами. Считая с кухней десять камер, мы должны будем покупать полтора пуда махорки в месяц.

– А сколько стоит махорка?

– Сорок копеек фунт. Значит, полтора пуда – двадцать четыре рубля... Это самая крупная статья расхода. Если затем в постные дни прибавлять в котел по одному пуду мяса, то баланда, наверное, получится великолепная. Баранина стоит здесь два рубля пуд. Следовательно, улучшение пищи в постные дни обойдется нам в месяц (восемь постных дней) в шестнадцать рублей. На остающиеся двадцать рублей мы можем иметь байховый чай, сахар и табак для себя и еще делать изредка, в праздничные дни, прямо роскошные обеды для всей тюрьмы, прибавляя, например, по полпуду мяса к казенному пайку.

– Но позвольте! Что скажет на все это Лучезаров?

– Ничего. Он сам неоднократно заявлял публично, что улучшения общего котла законом разрешаются. Беда была в том только, что арестанты держатся на этот счет своего особого мнения: коммунальными теориями их не соблазнит и сам закон, и ни одного такого благодетеля тюрьмы до сих пор не отыскивалось. А богатые люди есть и среди них...

– Итак, Иван Николаевич, наша многолюдная артель единогласно избирает вас своим старостой. Вы так отлично все эти дела знаете. Да и с Шестиглазым у вас установились уже определенные отношения.

Я, не споря, принял бразды правления, переговорил немедленно с экономом и заказал ему табак и мясо для ближайшего постного дня. Услышав о нашем желании кормить на свои деньги всю тюрьму, толстый эконом хихикнул, очевидно считая меня с новыми товарищами отчаянными олухами, но противоречить ни в чем не стал и на другой же день доставил пятнадцать фунтов махорки.

– Начальник смеется, – сообщил он при этом, широко улыбаясь, – никому б, кроме вас говорит, не позволил в тюльме майдан устлавать.

Я обошел все камеры и роздал старостам для дележки по полтора фунта махорки на каждый номер. Старосты, принимая табак, не выражали ни большого удивления, ни особенного любопытства. Вернувшись после того в свою камеру, я не мог не наблюдать за тем впечатлением, какое произвело на каждого из сожителей необычное в тюремной жизни явление. Старичок Шемелин, наш камерный староста, вытер тщательно стол и принялся раскладывать табак на шестнадцать кучек, точь-в-точь так же, как он делал это ежедневно с мясом. Я поспешил шепнуть ему, чтоб меня с Штейнгартон он в расчет не принимал. Шемелин почтительно выслушал и ничего не возразил. Две кучки моментально исчезли со стола и ровными щепотками распределились между остальными четырнадцатью. Затем старик все с той же деловитостью и тщательностью смахнул рукой в какую-то бумажку свою кучку (хотя мне отлично было известно, что он не курит) и ушел с нею на свое место, сообщив громко камере:

– Разбирайте, ребята!

Но ребята не торопились, и никто из присутствовавших даже не пошевелился при этом возгласе, точно и не слышал его, – каждый с достоинством продолжал заниматься своим делом. Только те из арестантов, которые ничего не знали и входили в камеру прямо со двора, увидев табак, удивленно спрашивали:

– Это что за табак?

– Берите по кучке, – коротко ответил Шемелин, и удивительно, что этого ответа оказывалось вполне достаточно, так что лишь очень редкие, менее всех дальновидные, после того еще спрашивали:

– А откуда он? Чей?

Большинство принимало этот дар безмолвно, почти равнодушно, словно что-то давно известное, должное и вполне законное. Некоторые кучки лежали, впрочем, до позднего вечера, и я уже думал было, что хозяева этих кучек так и не возьмут их – из чувства ли гордости,

потому ли, что сами имеют средства и стесняются брать наравне с бедняками, – однако в конце концов со стола исчез решительно весь табак; взяли свою долю и те, которые не курили, и те, которые свободно могли бы пожертвовать ее в пользу товарищей.²

То же самое происходило и в других камерах. Возможно, конечно, что некоторыми из арестантов руководило при этом опасение своим отказом обидеть меня с товарищами.

В ближайший постный день, когда вместо тошнотворной кашицы с иллюзией сала на столе появилась прекрасная баланда с мясом, невольное любопытство опять заставляло меня наблюдать за кобылкой: как она отнесется к этому? Что будет говорить? Но и тут очень долгое время я видел одно лишь холодное молчание и наружно-небрежное равнодушие. Многие, впрочем, вполне, по-видимому, искренно и не замечали даже, что вместо постной пищи едят скоромную. Разговоры шли, вероятно, в кухне, за нашей спиной, но мы их не слышали. Только гораздо позднее стали прорываться вслух отдельные благодарственные отзывы, и то больше со стороны благочестивых, благонамеренных старичков, вроде нашего же Шемелина:

– Кабы не добрые люди, замерли бы в этой тюрьме! Без табаку, без мяса насиделись бы... Дай им бог доброго здоровья, благодетелям нашим!

Степень этих "благодений" даже раздувалась и преувеличивалась: назывались порой головокружительные суммы, которые мы будто бы тратили на тюрьму. Но "иваны" и все те, которые считали себя настоящими профессиональными каторжными, держались в этом отношении гордо и независимо, встречая громогласные похвалы нам старичков если и не презрением (табак они все же брали, скоромную баланду в постные дни ели), то показным равнодушием. Лишь во время ссор между собой, когда терялось всякое самообладание, и такие люди высказывались вслух в том же духе и смысле.

– Ты что видал-то на свете, мараказ проклятый, – кричал верзила Петин на маленького Лунькова. – Ты разве в настоящих-то тюрьмах сиживал? В другом разве месте стали б тебя даровым табаком потчевать аль мясом, как борова, откармливать?

– А тебя небось стали б?

– Сравнял меня с собой, осел! Разве ты можешь внимание от таких людей заслужить? Нешто в башке твоей порожней найдется столько мозгу, сколько у Ивана Николаича аль у Дмитрия Петровича в одном мизинце ноги есть?

Любопытно, конечно, было знать, как объясняли себе арестанты материальную помощь, которую мы им оказали, какие мотивы предполагали в наших поступках. Дальнейшие события обнаружили, что многие допускали даже какие-то эгоистические расчеты с нашей стороны, думали, что, принимая наши подарки, они этим, в свою очередь, оказывают нам некоторое благодеяние... Крайне удивил меня по этому поводу один неглупый, в общем, арестант, после нескольких постных дней, случайно прошедших без всяких улучшений пищи, спросивший меня:

– А что, Иван Николаевич, разве вся уж марка-то у вас вышла?

– Какая марка? – спросил я с удивлением.

– Да... по которой полагается вам мясо и табак покупать?

Арестант несколько замялся, увидав мое удивленное лицо, и я так и не понял, что он разумел под своей маркой.

Новичкам предоставлено было Шестиглазым несколько дней отдыха, а затем и их так же, как меня, назначили в гору. Придя в светличку, я тотчас же повел их, в ожидании раскомандировки, в штольню. С шумом и весельем побежали они по темному коридору вперед, оставив меня далеко позади с фонарем.

² Впрочем, впоследствии, когда материальное положение тюрьмы стало еще стесненнее, подобное соглашение между арестантами установилось само собой и камерные старосты начали делить нашу махорку только по числу куривших. (Прим. автора.)

Вообще я замечал некоторую разницу между теперешним настроением товарищей и тем, что когда-то переживал и испытывал сам. Помню, я чувствовал себя долгое время точно затравленным зверем, ежеминутно и отовсюду ожидая обиды, оскорблений, пугливо и подозрительно глядя на каждого надзирателя как на своего естественного врага, и эта подозрительность не совсем исчезла во мне даже и теперь; и теперь еще я считал за лучшее возможно меньше разговаривать и возможно меньше иметь дела со всяким, кто представлял собой хоть малейшее подобие начальства в моих глазах. Исключением не был даже Петушков, который сам напрашивался на приятельство. Новички, подобно мне, в первые минуты пребывания в Шелайской тюрьме имели подавленный и запуганный вид, но длилось это очень недолго. Благодаря ли природному более жизнерадостному характеру или же тому обстоятельству, что они явились не в качестве пионеров и во всем встречали уже подготовленную почву, только в настоящую минуту они держались так, будто прожили в Шелайском руднике целые годы, – были веселы, непринужденны, свободно разговаривали не только с арестантами, но и с надзирателями, и последние в свою очередь, запуганные моим сдержанным обращением, отвечали им охотно, с видимой даже радостью. Точно какие-то мрачные чары рассеялись, долго державшийся лед растаял... Не скрою: я ловил себя в эти первые дни даже на тайном недовольстве новичками... Мне все казалось, что вот-вот последует что-нибудь очень дурное за их нетактичным, как мне казалось, чересчур свободным поведением, и я пугливо косился по сторонам, точно дикая кошка, выведшая своих детенышей из логовища на вольный свет и все оглядывающаяся, не грозит ли им какая-либо опасность. Но опасности не грозило никакой, и моя одичалая и обледенелая душа тоже мало-помалу оттаивала и расправляла утомленные крылья...

Едва забрались мы в глубину штольни и бегло осмотрели ее, как Башуров, не раздумывая долго, запел, так что от неожиданности я вздрогнул:

Стук молота от века и до века,
Тяжелый звук заржавленных оков...
Друг! Ты видал ли гнома-человека
На дне холодных рудников?

Бодрящие ноты молодого, звучного тенора огласили мрачные каменные стены, столько лет не слышавшие ничего, кроме унылого бряцанья кандалов, монотонных постукиваний молотка да тяжелых вздохов измученных, несчастных людей.³

Сначала несколько испуганно, затем радостно отозвалось этим бодрым звукам и мое изболевшее сердце...

Там мир иной, мир горькой, тяжелой доли...

подхватил красивый баритон Штейнгарта:

Там царство бесконечных мук.
Полжизни – день работы и неволи,
Полжизни – ночь суровых выюг.
И мрак и смерть там царствуют над миром,
И каждый молота удар
Звучит затем, чтоб пир сменялся пиром
В угоду ожирелых бар.

³ В глубоких подземных выработках большинство арестантов считает зазорным свистать и петь. У нас в Шелае певали, случалось, и в шахтах, но глубина их не превышала пяти-восьми сажен. (Прим. автора.)

Когда беспечный пир свершают счастья дети,
В уме моем рождается вопрос:
Уж не наполнены ль бокалы эти
Вином из крови и из слез?^[13]

Звуки шли все выше и выше, аккомпанируемые звоном настоящих цепей, хватая за душу, звуча горьким упреком кому-то, зовя на что-то смелое и великое...

– Откуда вы взяли, господа, эти слова и этот мотив? – полюбопытствовал я, когда певцы окончили свой импровизированный дуэт.

– В дороге один бродяга-певец научил нас. Он уверял, будто это – каторжный гимн, или "карийский гимн", как он называл его.

– Ну, вряд ли, господа, настоящий каторжник сочинял этот "гимн"! Тот плохо знает каторгу, кто считает, например, "заржавленные оковы" атрибутом особенно тяжких испытаний.

– Как так?

– А вот сами увидите, заржавеют ли ваши кандалы при постоянном ношении. Напротив, они будут блестеть как стеклышко!

В светличке, когда мы туда вернулись, раскомандировка рабочих была уже почти окончена.

– А, господа бродяги, – приветствовал нас Петушков, – я уж и впрямь думал, что вы в бега ударились! Ну, присоветуйте, Миколаич, куда мне поставить новичков. Ведь бурить-то им, пожалуй, не поглянется! Халудора возьми это буренье!

Новички, однако, выразили желание непременно попробовать бурить, и я повел их в верхнюю шахту. Штейнгарт, как и я когда-то, затруднялся в подъеме на гору и то и дело испытывал одышку; зато Башуров шел легко и свободно: родом крымчак, он был привычен к ходьбе по горам. Без особенного труда научился он и бурить довольно хорошо, между тем как Штейнгарту и это искусство давалось плохо. Он то и дело ударял себя молотком по руке, искривлял шпур и очень огорчался всеми этими неудачами. Но когда работа несколько налаживалась, он первый начинал петь под дружные удары арестантских молотков:

Стук молота от века и до века...

Башуров присоединялся. И когда на темном дне холодного неприветливого колодца раздавались стройные звуки "каторжного гимна", несаясь в вышину то в виде горькой жалобы, то гневной угрозой, на душе становилось как-то жутко и сладко...

Особенно стих —

И мрак и смерть там царствуют над миром

производил сильное впечатление, вызывая у меня каждый раз невольную дрожь..

И вдруг жизнерадостный Валерьян переходил к веселой песенке Беранже:

Вином сверкают чаши,

Веселье впереди,

Кричат подруги наши.

"Фортуна, проходи!"

И, дружно и быстро стуча молотками по бурам, мы все подхватывали хором:

"Стук! Стук!" – Кто в гости к нам?

"Стук! Стук!" – Мы Лизу ждем.

"Стук! Стук!" – Фортуна там.
"Стук! Стук!" – Не отопрем!^[14]

Слабому и нервному Штейнгарту бурение, конечно, вскоре не "поглянулось", как и про-
рочил Петушков, и он променял его на должность буруноса. Одышка, разумеется, скоро про-
шла, и он сделался отличным бегуном. Это не мешало, впрочем, Сохатому острить над ним и
называть не "буруносом", а "буреносом", разумея под этим, что скорее его самого могли носить
по сопке ветер и буря, чем он таскать на плечах тяжелые вязанки буров. Много также пищи
для остроумия и разного рода шуток доставил всем Штейнгарт, явившись однажды по оконча-
нии работ в тюрьму и, как оказалось при обыске у ворот, принеся по рассеянности за пазухой
два коротких бура... Надзиратель, сделавший это открытие, был сначала в недоумении, словно
раздумывая, не следовало ли затеять по этому поводу следствия, но скоро и он попал в общий
веселый тон и также начал хохотать.

– Стену хотел тюремную пробурить! – острила кобылка, шумно разбегаясь по камерам.

Некоторое время спустя для Штейнгарта открылось, однако, более важное занятие, чем
бурение и ношение буров, занятие, которое в глазах не только арестантов, но и начальства
сразу возвысило более чем вдвое наши прежние фонды. Раз поздно вечером в камере нашей
загремел замок, дверь распахнулась, сильно перепутав сидевших в углу картежников, и вошед-
ший надзиратель пригласил моего товарища к внезапно захворавшей жене эконома.^[15]

– Сам начальник просит поглядеть, – заискивающе объявил он.

Штейнгарт, проворно одевшись, ушел. Вернулся он только два или три часа спустя, не
только осмотрев больную, но и лично приготовив для нее с помощью фельдшера нужные лекар-
ства. Первый случай медицинской практики Штейнгарта оказался очень счастливым: больная
на другой же день почувствовала себя вполне здоровой, и слава его как замечательного врача
загремела далеко кругом. За надзирателями, их женами и детьми стал обращаться к нему и весь
шелайский бомонд^[16] – казачий есаул с семьей, его помощник Монахов, писаря из тюремной
конторы и, наконец, сам Лучезаров, почувствовавший к молодому врачу большую симпатию;
он дал ему разрешение во всякое время дня и ночи посещать больничную аптеку и, по зову
больных, выходить – разумеется, под конвоем – за ворота тюрьмы. Нередко стали вызывать
Штейнгарта прямо из рудника, отрывая от работы, а иногда и совсем не наряжали в гору в
течение целой недели.

Валом повалило к нему и тюремное население. Пьяница фельдшер совсем как бы остался
за штатом, и дело доходило до того, что он только формально освобождал арестантов от работ
или клал на больничную койку, в действительности же всем распоряжался Штейнгарт. С тече-
нием времени это начало злить самолюбивого Землянского, и он сделался нашим отчаянным
врагом. Но пока что я от души радовался тому, что обстоятельства сложились для товарища
так благоприятно и пребывание в каторге могло стать для него полезной практической школой,
"пятым курсом академии", как выражался он сам.

Я видел его бодрым, повеселевшим, всецело поглощенным своими новыми занятиями,
не имеющим даже достаточного досуга, чтобы хандрить и мучиться своими личными печальми
и страданиями.

За розами и лаврами, правда, последовали в свое время волчцы и тернии, но о них я
расскажу после.

Только поздними вечерами, когда жизнь в камере затихала и сожители наши уже громко
всхрапывали, нам удавалось по-прежнему беседовать по душе, и этим беседам за полночь
конца не было. Лежа на своих подстилках и склонившись один к другому головами, мы шепотом
разговаривали иногда вплоть до рассвета, особенно когда дело было накануне праздника
и на другой день не предстояло работ. О чем только ни говорили мы в эти тихие тюремные
ночи!..

Однажды рыженький Жебреек, один из ближайших соседей наших по нарам, подошел ко мне в коридоре тюрьмы и таинственно сказал:

– Знаете, Иван Николаич, что я хочу спросить у вас: где вы доставали те книжки, по которым сами учились?

– Как это сам учился?

– Да так. Я очень хорошо понимаю теперь, что те-то книжки, которые вы нам читали, – так себе, пустяковые книжки для простого народа, вот как мы, дураки. Ну, прямо сказать, белые книжки, как есть белые – бумага и ничего больше. Для старых баб все это да ребятишек списано. А вы сами с товарищами по настоящему, значит, по черным книгам учились... Я это очень хорошо теперь вижу.

– Не понимаю я вас. Какие такие черные книги?

– Ну, уж вы со мной не разговаривайте так. Я ведь не какой-нибудь Луньков или Сохатый... Новой⁴ арестант с умом, а новой совсем как младенец... Ну, а я до пятидесяти годов дожил и тоже что-нибудь смекаю. У меня самого бабушка – прямо скажу вам, не таясь – ведьма была, вот что!

Я поглядел во все глаза на выжившего из ума старикашку: он был, по обыкновению, комично-серьезен и величав.

– Я ведь слышу ваши разговоры... Вы думаете, я сплю ночью-то? Вовсе что есть глаз не смыкаю! И до того вникаю – ну, прямо сказать, все уши прикладаю к вашим речам!

– Это не очень, положим, похвально подслушивать, но что ж такое поняли вы из наших разговоров?

– А вот то и поняли, что у каждого из вас свой дьявол есть!..

– Дьявол? Что за чепуха! Откуда вы взяли?

– Значит, вот взял. У вас ведь ежели не пятое, так десятое слово бесприменно дьявол будет. Один говорит: "Мой дьявол такой", а другой отвечает: "Нет, мой дьявол такой!"

Я расхохотался, хотя долго не понимал смысла этих слов Жебрейка. Штейнгарт, которому я сообщил об этой беседе, назвал их просто бредом сумасшедшего. Но некоторое время спустя он сказал мне, смеясь:

– А знаете, я ведь понял, о каком дьяволе говорил Жебреек. Вовек, пожалуй, не догадаетесь: это – идеал!..

⁴ Новой – иной, (Прим. автора.)

V. "Украденный" манифест

Еще и еще раз наступала весна... Каждый год пробуждает она в душе арестанта забытую сладкую боль, муки надежды и отчаяния.

Все люди живут,
Как цветы цветут, —

жалуется тюремная песнь, сложенная, по всей вероятности, не в иную какую, а именно в весеннюю пору:

А моя голова
Вянет, как трава!
Куда ни пойду,
В беду попаду.
С кем веду совет —
Ни в ком правды нет.
Кину ж, брошу мир,
Пойду в монастырь!
Там я буду жить.
Монахом служить!

И горькой иронией над самим собою, бесконечно трогательной скорбью звучит это обещание певца пойти в монахи, когда следующие за тем строки песни,⁵ меняя не только размер, но и смысл стиха — в отчаянии раскрывая, так сказать, все свои карты, — говорят:

Ты воспой, воспой, жавороночек.
Ты воспой весной на проталинке,
На шелковой мягкой травоньке!
Ты подай голос через темный лес,
Через темный лес, за Москву-реку,
За Москву-реку в тюрьму каменную...
Под окном сидит там колодничек,
Млад колодничек, ах, разбойничек.
Он не год сидит и не два года,
Он сидит в тюрьме ровно восемь лет.
На девятый год стал письмо писать.
Стал письмо писать к отцу с матерью,
Отец с матерью не призналися,
Не призналися, отказалися:
"Как у нас в роду воров не было,
Воров не было, ни разбойников".

Лихой песенник Ракитин прибавлял, бывало, к этой песне еще один стих, которого другие тюремные певцы не знали:

⁵ Возможно, конечно, что это и две различных песни, по делу а том, что от лучших тюремных певцов, вроде Юхорева, я слышал их всегда слитными, без малейшего перерыва, и все они утверждали, что это одна песня. (Прим. автора.)

Молода жена слезно всплакалась...

Но на этом и он останавливался, и тщетно просил я его припомнить хоть смысл дальнейших стихов, о чем именно "всплакалась" молодая жена. Впрочем, осиновое ботало не затруднялось дать собственный ответ на этот вопрос:

– Эх, Иван Николаевич! Да о чем же другом ей, подлой, плакать, как не о том, что вот, мол, воротится, чего доброго, вор-бродяга, а у нее уже другой паренек, почище, на примете есть?..

Я сам уже третью весну встречал в Шелайском руднике и каждый раз испытывал эту особенно сладкую, особенно щемящую боль. Однако в этот третий раз, когда опять зазеленели окрестные сопки и из глубины ожившей тайги понеслись в тюрьму живительные весенние звуки и запахи, в душе моей, долго дремавшей, а теперь разбуженной приездом товарищей и беседами с ними, с небывалой прежде силой проснулась жажда жизни, воли и счастья... В те дни, когда работы у Пальчикова в кузнице было совсем мало и я брал на себя обязанности бурноса в одной из шахт, там во время чаепития перед разведенным костром я с жадностью слушал бесконечные рассказы арестантов о побегах, в тайниках души сочувствуя этим безумным мечтам об освобождении. Внизу, под нашими ногами, расстилалась зеленая, пахучая тайга, полная своих чудных тайн и приманок, обольстительная, молодая, влекущая, а дорогу к ней преграждали расхаживавшие с ружьями в руках часовые-казаки. Впрочем, всего только два человека, по одному у каждой из противоположных дверей колпака; остальные, сложив ружья в козлы, сидели, подобно нам, в отдалении, у своего костра, и арестанты часто с насмешкой отзывались об этих стражах закона, хвастаясь, что если бы захотели только бежать на ура, то "казачишки" не успели бы и выстрела по ним дать... Особенно любил хвалиться на этот счет Сохатый, действительно известный своими отважными побегами.

– Я из Иркутской тюрьмы бегивал, не то что отсюда, – горделиво рычал он, выпучивая свои телячьи глаза. – Там не такие духи-то стоят, не эта деревенщина, а настоящие солдаты. Мы со стены вчетвером один за другим прыгнули, я первый... Упал, вскочил на ноги – еще помню, коленку здорово об камень зашиб – и прямо на город побежал. Солдат и не посмел стрелять, потому дома близко. А пока он, дух окаянный, тревогу подымал, свистел да кричал – глядь, и те трое, товарищи-то мои, за мной следом... Так и убежали.

– А все-таки поймали вас, Петин.

– Это уж опосля было, не в Иркутске, а я про то рассказываю, как мы из тюрьмы ловко удрали.

– Теперь небось ноги не такие резвые?

Петин презрительно фыркнул.

– Вы не знаете еще Петина-Сохатого! Не бежит он – значит, воли его на то еще нет. А захочет – ни одного дня Шестиглазый его не удержит!

Одно время мне казалось, что Петин и действительно что-то замышляет. Он ходил сердитый, задумчивый, забросив свои учебные тетрадки. А раз надзиратель (это было в самых первых числах мая) при обыске шахты нашел спрятанным за крепями чуть не целый мешок ржаных сухарей. В уме начальства сейчас же явилась мысль о затеваемом побеге; казаки сделались осторожнее, прибавили постов, перестали отпускать арестантов даже на один шаг от колпака без усиленного конвоя. Сухари могли быть, конечно, припасены кем-либо из шпанки и для других, более невинных целей, но Петин так многозначительно фыркал, когда заходила среди арестантов речь об этом открытии, что невольно заставлял подозревать себя. Впоследствии он даже прямо сознался мне в дружеской беседе, что побег был уже совсем решенным делом гораздо раньше, чем надзиратель нашел сухари, но что остановка явилась за товари-

щами; с негодованием говорил он о двух-трех арестантах, пользовавшихся в тюрьме громкой репутацией "громил" и, однако, в решительную минуту дрогнувших и отступивших.

– А одному бежать никаким манером нельзя!

– Почему?

– Да одного в первую же ночь в лесу сонного захватят... Стрёма⁶ ведь будет. Тут ухо надо остро держать. Опять же голодом не пойдешь всю дорогу. А как без товарищей провиант будешь добывать?

– А мне кажется, Петин, что уж если затевать побег, то надо и на голодовку готовым быть. Дней десять поголодаете – не помрете, а за это время бог знает куда уйти можно.

– Вишь вы какие ловкие. Нет, я голодать не согласен...

– То-то и есть. Правду, значит, говорит про вас Луньков, что вы дешевый.

– Да я ему, сволочи, голову оторву! Сам-то он что такое? Что может он понимать в этих делах? Вечный тюремный житель!

– А вы уж не сами ль, Иван Николаевич, собираетесь того? – конфиденциально обратился ко мне однажды Сохатый, скаля зубы. – Все спрашиваете да любопытствуете... Что ж, я б взял, пожалуй, вас и Штенгора в товарищи к себе.

– А какая ж бы вам от нас польза была? Глаза у нас обоих плохие, значит и стрёмщики мы были бы плохие; ноги еще того хуже... Словом, мы бы только помехой вам служили?

– Зато у вас деньжонки есть... Одежду бы могли тоже вольную из чихауза достать.

– Ага, вот чего вам от нас надо! А потом – оберете при случае, да и бросите где-нибудь в тайге?

– Вот как вы обо мне понимаете, Иван Николаич? Благодарим покорно! Только вы ошибаетесь: на Сохатого положиться можно как на каменную гору. Не было еще случая, чтоб он товарищей своих продавал. Но вам всегда дороже какой-нибудь прохвост, сволочь тюремная, которая подлизаться умеет.

И Петин сделал вид, что серьезно на меня обиделся. Но он и сам, конечно, хорошо понимал, что я шутя только говорил с ним о своем участии в побеге; по крайней мере и он и другие арестанты не раз говаривали про меня с товарищами:

– Не нам вы чета, Миколаич, не наш брат. Вам или помирать в тюрьме надо, или законным родом из нее выходить, не иначе. Потому как вы побежите? Да хоть самым чертом, не то что челдоном, одень вас, так первое встречное дите признает вашу личность. И слова и обращение – все, все ведь другое в вас!

И, вероятно, приятели-арестанты были на этот счет правы. Или помереть в каторге, или дожидаться законного выхода из нее – ничего другого не предстояло нам!..

Весной описываемого года весь арестантский мир, не только в Сибири, но даже и в России, переживал небывалое волнение: произошло в его жизни событие действительно невероятной важности. Сначала пошли какие-то глухие, отрывочные слухи, исходившие большей частью из довольно мутных и легковесных источников. Какой-нибудь Карпушка Липатов проходил по камерам и "ботал":

– Ну, хрестьяне православные, слушайте, что вам Карпушка скажет. Вы вот смеетесь да смеетесь над Карпушкой, а он Вам такую весточку принес, что только рты разинете! Не будет теперь и фершал со мной много чирикать. Скажу: давай мне, цыганская твоя образина, настоящей ханании, такой, чтоб в нос шибала, кости, значит, что твой спирт, промывала, а не то чтобы как...

– Да говори, рыжая твоя морда, в чем дело!

– А в том дело, что государь амператор нас всех на волю выпускает.

– Ха-ха-ха! Пошел ты ко всем дьяволам, ботало безобразное! Откудова ты знать можешь?

⁶ Облава. Другое значение "стрёмы" – тайное стояние на карауле. (Прим. автора.)

– Нет, старики, – выдвигалась вдруг из угла какая-нибудь молчаливая до тех пор фигура. – Нет, старики, дурак он дурак, а говорит на этот раз дело. Я еще в Шелай шел, так по дороге один этапный офицер вышел к нам и говорит: "Ребята, не печальтесь! Скоро вам от государя амператора милость выйдет". Вот что!

– Скоро, брат ты мой, солнышко взойдет, да до той-то поры роса глаза выест! Давно уж сказывают про этот большой манифест, а его все нет как нет.

– погоди, синод раньше собраться должен да указ состановить. Ты, большая башка, как думал-то? Легкое это дело? Сел к столу, взял бумагу, брех-брех-брех, да и готово?

Давно уже происходили подобного рода толки и разговоры, но никто не придавал им большого значения. Но вот однажды, в середине мая, портной Буланов пришел от казацкого есаула, на семью которого шил, и сообщил уже настоящую сенсационную новость: вышел наконец манифест, тот "большой" манифест, которого все столько лет ждали, но сибирское начальство пока скрывает от арестантов бумагу, потому что напугано неслыханно огромной милостью и не знает, как быть: если выпустить сразу всех каторжных, то не произойдет ли бунта?

– Что ты гово-ришь?! – внезапно побледнев, произнес кто-то из слушателей тихим, упавшим от волнения голосом.

Разговор происходил в мастерской, где чинились обувь и арестантская лопоть, но где, кроме мастеровых, присутствовала постоянно кучка постороннего народа. Сапожники вырвали из рук свои колодки, портные побросали иголки. Все обступили проницательного мордвина, всегда улыбавшееся лицо которого было на этот раз серьезно и почти строго.

– Неужто всех, братцы, выпустят? Да кто тебе сказывал, Буланов?

– Сама есаулша. "Я, говорит, тебе, Буланушка, потихоньку от барина сказываю, потому очень строго скрывают пока. Обрадуй ты своих товарищей-колодочников: две трети со всего строка скидывается им по манифесту!"

– Две трети? Ну, значит, все же не сразу выпустят?

– Пороссячья твоя голова! – зашумела внезапно кобылка, набрасываясь на разочарованного товарища, зашумела, словно очнувшись от тяжелого столбняка. – Тебе этого еще мало?

– А законную-то треть ты забыл? – приступил к нему в числе прочих и Шматов (он же Гнус), тяжело, прерывисто дыша по обыкновению, возбужденно жестикулируя рукой и шевеля длинными тараканьими усами. – Законную-то треть забыл? Она ведь не отыметса от тебя.⁷ Ну, оно и выйдет так, что при двух третях по царскому манифесту все пойдем на волю, кроме долгосрочных!

С бешеным весельем и стремительной поспешностью рассыпались тюремные "вестники" по камерам, и вскоре все тюремное население знало новость и обсуждало ее со всех сторон и во всех подробностях. Вернувшись из рудника, услышал о ней и я с товарищами, но мы стали смеяться над легковверными. Арестанты слегка даже обиделись, хотя ни в ком из них и не было еще непоколебимо твердой уверенности.

– А вот я схожу сейчас к эконому, – решил Юхорев, – прямо вытрясу из шепелявого дьявола правду-матку!

Возвратившись из этой рекогносцировки, он с самой забористой руганью обрушился на Буланова и на всех, кто уверовал было в его сообщение: эконом клялся и божился, что никакой бумаги Лучезаровым ниоткуда не получено и что все это одна арестантская выдумка. Кобылка повесила носы. Когда общее негодование было излито на портного, смутившего общий покой, тюрьма затихла и стала, казалось, вдвое печальнее и мрачнее, чем была раньше. Так прошел день или два.

⁷ Дело в том, что каторжные II и III разрядов, осуждаемые сроком до двенадцати лет включительно в заводы и крепости и, за отсутствием последних, отправляемые обыкновенно в те же рудники (пребывание в которых считается по закону более тяжким наказанием), пользуются так называемой горной скидкой, по четыре месяца с каждого года. Каторжные I разряда этой скидки не имеют. (Прим. автора.)

И вот снова началось какое-то шушуканье по углам... "Манифест", "две трети", "милость" – опять доносилось до нашего слуха, не вызывая, впрочем, с нашей стороны большого внимания. Однако и мы невольно насторожились, когда Юхорев пришел раз от эконома и заявил:

– А ведь точно есть что-то... Обманывает шельма косноязычная, скрывает!

И в тот же день открыто начали повсюду говорить, будто уже сам Шестиглазый объявил многим из вольнокомандцев о большой милости, о том, что на днях в тюрьме будет молебен, после которого и прочитают о двух третях.

Что действительно "что-то есть", в этом почти нельзя уже было сомневаться; оставалось скептически относиться к слуху о такой большой сбавке.

– Возможно ли это? – говорили мы. – Как правительство решится сразу выпустить на свободу чуть не несколько десятков тысяч человек, которых накануне оно считало опасными для общества элементами и держало на цепи?

– А почему же и нет? – возразил увлекающийся Башуров. – Во-первых, и выпущенные, они останутся все же в Сибири, на которую принято глядеть как на место стока общественных нечистот; а во-вторых, я думаю, если позаботиться дать этому пароду работу и кусок хлеба, то опасности ровно никакой не будет.

– Откуда же взять столько кусков?

– Как откуда? Да ведь и в тюрьме каторжных нужно кормить? Но, главное, вы забываете, господа, об одном свойстве человеческой души: преступная она, а все же человеческая... Ведь подобная "милость", несомненно, вызвала бы в людях такой взрыв энтузиазма, такой высокий подъем духа, что – кто знает? – быть может, эти люди могли бы переродиться нравственно... Вы смеетесь? Ну, если не совсем переродиться, то хоть сделаться восприимчивыми к нравственному воздействию. Надо только не упустить момента, надо, чтобы правительство и общество позаботились посеять доброе семя в этой размягченной почве. Подобным семенем, мне кажется, прежде всего могло бы явиться доверие к несчастному, отверженному человеку!

Такого рода теоретические споры вели мы по поводу сенсационного слуха, колеблясь то в сторону веры, то сомнения.

Беседа в руднике с Петушковым окончательно сбила меня с толку. Он клялся и божился, что сам собственными глазами читал бумагу и что в ней прямо говорится о двух третях скидки.

– Я слышал вчера, – прибавил Петушков, – как сам Лучезаров говорил военному начальнику: "По расчету в тюрьме должно остаться всего семь человек".

– Значит, все-таки останутся? Кто же это?

– Кто-нибудь из вечных, из таких, что уж вовсе нельзя выпустить.

– А мы думали, что всю тюрьму упразднят и всем надзирателям от места откажут.

– Проня и то опустил было голову. "Как же, говорит, теперь инструкция? Для кого ж она?" Ну да я утешил его; кабы и ни единого арестанта в тюрьме не осталось, надзиратели б, говорю, остались! Друг дружку б караулили, покаместь новую кобылку б не пригнали... Ха-ха-ха! Халудора его, побери!

То, что могло грезиться только в самых безумных снах, теперь свершалось наяву. Приходилось и нам признать наконец, что "глас народа – глас божий"... И бурная радость против воли охватывала душу, опьяняя ее светлыми надеждами...

Был яркий весенний день в двадцатых числах мая, когда назначен был молебен и отменены по этому случаю работы. Посредине тюремного двора уже ранним утром поставили стол, накрытый чистой белой скатертью. Эконом разложил на нем пачку восковых свечей. Кобылка толпилась во дворе с радостно сияющими лицами. Многие нарядились в чистые рубахи и намазали себе волосы жиром. Не слышалось ни брани, ни обычных ссор. Вчера еще заклятые враги – сегодня беседовали мирно и дружелюбно. Юхорев с двумя-тремя из своих приятелей, тюрем-

ных вожаков, расхаживал обычной геройской походкой вдоль фасада тюрьмы, и из его беседы с ними до моего слуха долетали порой отдельные фразы:

– Я опять на Олекму^[17] ударюсь! Черта с два стал я в Забайкалье жить!.. Там и девки-то, по-моему, слаше и спирт крепче.

Ко мне тоже подошли мои приятели, Чирок и Ногайцев, оба торжественно-солидные, слегка улыбающиеся.

– Ну что, Миколаич, дождались и мы праздничка?

– Сон, просто сон, да и на! То и дело протираешь шары, боязно, как бы не проснуться.

– Ну, что ж вы теперь, Ногайцев, делать станете? На родину вернетесь?

– Возвращусь, непременно возвращусь. Дедушка у меня там... Шибко любил меня дедушка.

– Как же вы жить там станете, чем?

– Чудной ты, право, о чем спрашиваешь... Что ж, рук у меня, что ль, нету? Аль думаешь, коли я раз в жизни одну аль две сволочи убил, так скучать опять по остроге стану? Сам знаешь, Миколаич, я и в каторге лодырем не жил. Ну, ежели я жиром заплыл, так разве это от себя? Это болезнь. Это нездоровый жир; больной я человек стал в каторге... А дай-ка мне волю да вольную пищу, я опять настоящим человеком стану!

Чирок внимательно вслушивается в эти речи Ногайцева, и лицо его делается все серьезнее и важнее.

– Правду это истинную говорит Ногайцев, – заявляет он убежденным тоном, – в тюрьме разве может человек человеком быть?

–: А вы, Чирок, уж не будете больше черемисов давить? – невольно спрашиваю я, припоминая, что до тюрьмы этот человек был несравненно меньше человеком, нежели в тюрьме, спрашиваю – и почти тотчас же раскаиваюсь в своем вопросе.

Лицо Чирка принимает в высшей степени огорченный вид.

– Эх, Миколаич! – Он снимает шапку и энергично чешет затылок, и это "эх!" звучит чем-то вроде горького упрека.

Сами собой вспоминаются мне рассуждения Валерьяна о благоприятном для нравственного перерождения моменте: уж и в самом деле, нет ли в этих рассуждениях доли правды?

– Строй-ся! – раздался вдруг оглушительный возглас надзирателя, и все зашевелились. Арестанты почти моментально построились в ряды. Ворота распахнулись, и стройным шагом вошла в них целая рота местных казаков с молодым хорунжим впереди. Послышались и для них слова команды, и казаки выстроились направо от арестантов точь-в-точь такими же шеренгами. Очевидно, ожидалась внушительная и величественная церемония.

Едва надзиратель замолк, как в ворота вошли приехавший из завода старик священник с рослым, представительным дьяконом, казацкий есаул, толпа надзирателей и конторских писарей и во главе их Шестиглазый с бумагой в руках, при одном виде которой сердца в груди у всех дрогнули и сладко замерли. В заключение ввели вольнокомандцев-арестантов и построили на левом крыле отдельным взводом. Все это произошло быстро, с необыкновенной помпой и в величайшем порядке.

– Благослови, вла-ды-ко! – рявкнул дородный, плечистый дьякон, нарушая внезапно благоговейную тишину, и богослужение началось. Все, как один человек, шумно перекрестились широким крестом. Истово крестились даже те из арестантов, которые на словах не верили, что называется, ни в чох, ни в сон, походя богохульствовали и заявляли себя самыми крайними атеистами. Было ли это искреннее умиление, серьезная готовность возродиться? Влияло ли отчасти присутствие многочисленного начальства?..

Перед провозглашением многолетия к столу торжественно приблизился бравый капитан, медленно развернул таинственную бумагу, которую все время держал в руках, окинул ликующим взором строй бритых арестантских голов и громко произнес:

– Так вот что, братцы, дождались вы великой милости!.. Слушайте бумагу, полученную мной от военного губернатора.

Если бы муха пролетела в это время по тюремному двору, то, вероятно, и ее шелест был бы всеми услышан. Где-то далеко, за тюремными воротами, кто-то кашлянул; высоко в небе прощелбетала ласточка...

Читал Лучезаров громко, необыкновенно отчетливо и выразительно, не только голосом, но взором и жестом руки подчеркивая следующие слова: "При условии хорошего поведения, искреннего раскаяния и доброго мнения начальства сроки наказания арестантов, назначенные им по суду, могут быть уменьшаемы до двух третей!!!"

У всех точно тяжелый камень свалился с плеч: теперь уже все собственными ушами слышали то, чему раньше приходилось верить лишь на основании только слухов, хотя бы и самых достоверных. Кобылка глубоко завздохала, закрестилась и радостно заколыхалась...

– Слава тебе господи! – послышались возгласы старичков.

Лучезаров между тем продолжал чтение губернаторской бумаги по пунктам, хотя его никто уже не слушал и никто не понимал.

– Ну, так вот что: до двух третей скидывается вам! – торжественно возгласил он еще раз, окончив чтение и высоко подняв в воздухе бумагу.

Видимо, бравый капитан сам искренно ликовал. Багрово-красное лицо с длинными желтыми усами казалось на этот раз не грозным, а сияло умилением... Да и вся внушительная фигура Лучезарова приняла, казалось, меньшие против обыкновенного размеры, превратившись в фигуру обыкновенного смертного... Внимательно поглядев затем в обе стороны арестантских рядов, Шестиглазый быстрыми шагами подошел ко мне и, протянув бумагу, любезно сказал:

– Посмотрите еще раз и объясните им в камерах, если чего, быть может, не поняли.

Это было в первый раз, что он говорил мне без всяких обиняков вы при столь официальной обстановке.

Между тем священник, благообразный старик с длинными белыми волосами, тоже умиленно заговорил:

– Так вот, ребятушки, какая милость вам вышла! Может быть, некоторые из вас и не заслужили ее, а и тем будет сброшено две трети срока. Ну, помолимся же еще раз покрепче и потеплее.

И снова началось жаркое моление.

– Лебятя, кто хочет сведи купить, белите! – кинулся толстый и красный, как кирпич, экономай к рядам арестантов с пучком восковых свечей в руках. Их живо расхватили у него (он отлично запомнил, кто именно). Брели не только благочестивые старички, но и равнодушный к религии "молодяжник", не только состоятельные люди, но и такие, за кем в конторе числилось не больше десяти копеек. Дьякон, зараженный общим энтузиазмом, просто надрылся, провозглашая многолетие, и когда могучий бас его загремел "многая лета" плененным, заключенным, а затем и их начальникам, то арестантский хор рявкнул в ответ ему так искренно, так громоподобно, что, вероятно, на дальних сопках было слышно его: по крайней мере паривший в небесной синеве в виде маленькой точки коршун тотчас же скрылся из моих глаз...

Бурной волной текла ликующая кобылка в коридор тюрьмы, окружая меня и громко требуя, чтобы еще раз прочитана была драгоценная бумага.

– По гуковкам, по гуковкам заучим! Читай, Миколаич, читай!

Мы с Штейнгартом теперь только переглянулись, и я увидел, что одна и та же мысль лежит у нас в глубине души.

– Стойте, братцы, – обратился я к толпе, едва подавляя собственное волнение, – тут ведь крупная ошибка выходит, недоразумение... Никаких двух третей нам не скидывается, а всего

только одна треть, да и та не непременно целиком и каждому. Могут скинуть меньше, могут и совсем ничего не скинуть.^[18]

– Что ты говоришь?! Смеешься, что ли, над нами?!!

– Нисколько не смеюсь; но и начальник, и священник, и вы все поняли бумагу не так, как следует.

За минутой ошеломленного молчания поднялся невообразимый гвалт. Раздались взбешенные голоса:

– Чего он плетет? Отуманить нас хочет!

– Не слушайте его, братцы! Мы ведь сами, своими ушами-то слышали!

– Возьмите у него бумагу, сами читайте. Кто грамотный?

– Эти люди всегда смуту сеют, всегда начальство замарать норовят! – уловил я в задних рядах звонкий голос Богодарова, каторжного из дворян, вышедшего когда-то из шестого класса Иркутской гимназии, за подлог угодившего в Среднеколымск, а оттуда за убийство в пьяном виде – в Шелайский рудник. Это был чахоточный, против всего на свете озлобленный и страшно самолюбивый человек, мнивший себя высоко образованным (а на самом деле не умевший писать грамотно) и глубоко ненавидевший меня, тоже бывшего дворянина, обладавшего подлинным образованием.

– Им неприятно, что правительство человеколюбие такое выказало! – громко, не стесняясь нас, продолжал кричать Богодаров, и можно было уловить там и сям сочувственное мычание. Вслед за тем Богодаров куда-то скрылся. Оказалось потом, что он побежал докладывать Шестиглазому, что я с товарищами бунтую арестантов, объясняя им, что никаких двух третей нет и не будет, что это один обман. Он рассказывал потом кобылке, будто Шестиглазый, страшно рассердившись, закричал:

– Скажи ему (то есть мне), что я до сих пор просвещенным человеком его считал, а он оказался просто напросто... ослом!

Не знаю, выразился ли бравый капитан так энергично, но что он был сильно раздражен моим противоречием общему (и в том числе его, лучезаровскому) мнению – это мне достоверно известно.

Арестанты между тем продолжали волноваться и шуметь. Чем больше читали им бумагу собственные их грамотеи, тем сильнее укоренялась в них уверенность насчет двух третей. Едва только чтение доходило до строк: "При условии и пр... сроки наказания арестантов, назначенные им по суду, могут быть уменьшаемы до двух третей", – как слушатели приходили тотчас же в неистовый восторг и, размахивая руками, с азартом кричали:

– Ну чего же он спорит? Ведь написано тут? Мы не глухие тоже... Аль уж дураками нас вовсе считают? Вот они, высокоумные... Учились, учились, да и ум-то уж за разум зачал заходить!

Многие из арестантов совсем даже перестали в эти дни разговаривать со мной и проходили мимо не здороваясь, как всегда прежде, и отворачивая в сторону голову, а некоторые, напротив, глядели нахально в глаза с нескрываемым выражением ненависти и презрения. И только сравнительно немногие сохраняли все время прежнюю теплоту отношений. Так, Кузьма Чирок говорил мне с добродушной укоризной:

– Посередь чурок лесных вырос я, Николаич, и сам не более как пень пермязкий... Что люди говорят, тому и верю. Ну, а все же, надо полагать, маху ты на этот раз дал! Уж очень знатко написано в бумаге-то – я даже понимаю, что две трети, а ты толкуешь – одна треть!

– Послушайте, Чирок. Если у меня, положим, не будет хлеба, а у вас я увижу целую краюху, подойду и скажу вам по-приятельски: "Кузьма, дайте мне хлеба, уменьшите свою порцию до двух третей". Вы сколько же оставите себе и сколько мне дадите?

– Ну... я и дам тебе третью часть, а себе две оставлю! – не задумываясь, решает Чирок.

– Так. Ну, а почему же там, где вам невыгодно оставить себе две трети, вы оставляете только одну?

В сильном волнении заскреб себе Чирок и голову и даже брюхо.

– Ах, Миколаич, Миколаич! Не раздражай ты моего сердца, замолчи!

В числе немногих других "сурьезных" и бывалых арестантов Юхорев также ни на йоту не изменил своего отношения ко мне с товарищами. Он, как всегда, рисовался своим каторжным презрением ко всякого рода милостям.

– А наплевать мне, – говорил он, трясая, как лев, своей могучей головой. – Дадут треть – возьму и треть, с лихой собаки шерсти клочок... А впрочем, на себя самого всего лучше надеяться!

И, загнув крепкое словцо, он торопливо, по обыкновению, убегал легкой походкой по своим делам. Что касается, однако, смысла бумаги, то я не сомневался, что в глубине души он понимал его так же, как все.

По окончании одного из горячих споров моих с арестантами, в котором принимал участие и дежуривший в тот день надзиратель, Луньков таинственно отозвал меня в сторону и сказал:

– Иван Николаевич, я вполне готов верить вам. Конечно, куда же супротив вас не только нам, а и самому Шестиглазому. Но только одно я вам посоветую: держите про себя что думаете... Ну, вдруг до высшего начальства донесется? Спыхватится оно и не даст нам двух третей... Нам же ведь лучше, ежели они неверно понимают...

И он так трогательно-умоляюще глядел на меня, произнося это, что я не в силах был даже засмеяться. Между тем Лучезаров, рассерженный в первых попытках, начал, должно быть, размышлять. Когда на одной из вечерних поверок кто-то из арестантов спросил его, точно ли две трети прощаются каторжным, бравый капитан отвечал уже с некоторым смущением, бросив косвенный взгляд в мою сторону:

– Я послал запрос заведующему каторгой... В губернаторской бумаге действительно несколько неясны на этот счет выражения... Во всяком случае, вопрос очень скоро будет разъяснен.

Петушков тоже не раз затевал со мной споры в руднике. Он понимал бумагу, как все, в пользу арестантов и полушутя, полусерьезно упрекал меня в самомнении, в желании во всем быть не таким, как другие.

– Я хорошо знаю, что вы ученые люди, а мы пни таежные, ну, а все-таки, ежели не мы, так ведь Монахов-то с Лучезаровым не меньше могут понимать?... Они тоже чему-нибудь учились... Да, чего! Сам заведующий, слышно, объяснял, что скидывается две трети... Неужто ж никто, халудора, так-таки никто, кроме вас одних, во всей нашей Сибири читать не умеет?

– Не читать не умеют, Ильич, а настроились все в пользу двух третей – вот так и понимают. А вы вот что скажите мне: положим, вы бы девяносто рублей жалованья в месяц получали.

– Ох, ловко бы это, халудора, было!

– Положим теперь, что за какую-нибудь провинность вам уменьшили б это жалованье до двух третей. Сколько б вы тогда получать стали?

– Раньше, говоришь, было девяносто? Ну, понятно, осталось бы шестьдесят рублей.

– Ну вот сами видите, что по-моему и выходит.

– Как так? Что такое? Где по-твоему, халудора тебя заешь? – срывался с места Петушков и, продолжал спор, соглашался прозакладывать своего любимого коня Воронка против пятидесяти рублей с моей стороны...

Молва о том, что трое образованных арестантов заумничались, катилась, точно снежный ком, по шелайским окрестностям, и скоро об этом знали и говорили даже в заводе. Обществен-

ное мнение было не на нашей стороне, и все с явным злорадством поджидали решения высшего начальства, решения, которое должно было вконец пристыдить и опозорить нас!

– А что, Иван Николаевич, – шутливо говорил иногда Штейнгарт, – ведь самая большая неприятность будет теперь для нас, если начальство возьмет да и применит к нам две трети? Уж лучше, пожалуй, в тюрьме остаться, но зато в качестве победителей?

– Ну нет, я не согласен, – отвечал я, тоже шутя, – по-моему, лучше осрамиться, но две трети получить!

Время между тем шло. Большинство арестантов ждало, что выпускать из тюрьмы станут – самое позднее – несколько дней спустя, а некоторые были разочарованы, когда их не выпустили тотчас же после молебна и вечером надзиратели, как всегда, сделали поверку, прочитали наряд на работы и заперли камеры на замок. На другой день кто-то пустил слух, что из богадельни в Александровском заводе все арестанты давно уже выпущены и семидесятилетние богодулы, гуляя по кабакам, хвастливо шамкают беззубыми ртами:

– Мы еще загремим, братцы!..

Но слух этот был вскоре опровергнут. Дни шли за днями. Поверки, работы, весь строй каторжной жизни продолжался (своим чередом; умиленное настроение надзирателей и самого Шестиглазого сменилось прежней важностью и суровостью, и кобылка быстро начала падать духом. Втайне она продолжала верить в две трети, но явно все чаще и чаще слышались голоса:..

– Прав Иван Николаевич, прав: и одной трети понюхать не дадут! Какой тут может быть закон в Сибири? Одно слово – Шемякин суд!

В середине лета никто даже и не заговаривал больше о манифесте. О применении его не было ни слуху ни духу. Наконец, уже в сентябре месяце, разнеслась молва, что в Зерентуйском руднике двоим заключенным объявлена сбавка в две трети.

– В две трети?

– Да, – говорили с уверенностью вестники.

– Да как же так?.. Если это тот Малышев, которого я знаю, так ему и оставалось-то всего несколько месяцев, потому судился он на двенадцать лет.

– А я Сухопятава знаю, – подхватил другой из слушателей, – он в один день со мной судился, только мне одним годом больше дали... Значит, он и так уж пересидел, потому и мне на днях, почесть, срок выйдет!

– Какие же это две трети?

– Ну да, может, не тот Сухопятав – другой.

Но вот в один прекрасный вечер Лучезаров прочитал на поверке, что трое арестантов, находящихся в Шелаевской вольной команде, тоже выходят по манифесту на поселение. Про этих все уже отлично знали, что одному оставался до поселения месяц, двоим по два месяца! Каждая почта стали приносить после того подобные же скидки арестантам, большей частью из вольнокомандцев, сроки которых и без того, оканчивались в самом близком будущем, а один раз пришел приказ о годовой скидке арестанту, который накануне совсем окончил свою каторгу!..

Разочарование было полнейшее. Каторга громко негодовала. "Иваны" больше чем когда-либо бравировали, заявляя, что они все равно ни в каких милостях не нуждаются, а мелкая шпана ворчала, что сибирское начальство "украло" у нее две трети.

– Да уж одну б то хоть дали полняком, а то и одной ведь не выходит!

Решили обратиться за разъяснениями к Шестиглазому. Бравый капитан, как ни в чем не бывало, с превеликим апломбом отвечал:

– Мальчишеством было думать, что скинут целых две трети! Я тогда же предупреждал вас: не возлагайте слишком больших надежд, ждите разъяснения.

– Да хоть треть-то будет ли скинута, господин начальник?

– Третью непременно. Надо только очереди дожидаться. Сразу ко всем применить манифест невозможно, вас ведь тысячи целые...

О той же физической невозможности говорил впоследствии шелайским арестантам и сам заведующий каторгой. Но я никогда не понимал ее, как не понимаю и до сих пор. В управлении Нерчинской каторги работают целые десятки чиновников всевозможных названий и окладов жалованья; между тем, я думаю, два-три хорошо грамотных и добросовестных писарька без особого труда могли бы в один какой-нибудь месяц подсчитать по статейным спискам сроки и сбросить с них третью всем трем тысячам человек, находившимся в Нерчинской каторге. Канцелярская же волокита умудряется употреблять на это довольно немудрое дело от одного до двух лет...

Жизнь вошла окончательно в обычную колею. Розовые иллюзии рассеялись. В течение целого года, "через час по столовой ложке", как острили арестанты, объявлялись скидки малосрочным. О долгосрочных, казалось, позабыли совсем. Конечно, при сбрасывании одной трети на их плечах оставалось все еще достаточное число лет каторги, и торопиться с объявлением им "милости" не было, пожалуй, особенной нужды, но недовольство долгосрочных имело и свою небезосновательную причину. Именно они надеялись (и мне самому надежда эта казалась законной), что не только весь срок уменьшен будет на одну треть, но в такой же мере сократится и срок "испытываемый", подлежащий отсидке в стенах тюрьмы и составляющий поэтому самую тяжелую часть каторги. Надежда эта, однако, рушилась, как и многие другие надежды, и по прошествии года Лучезаров объявил нам о полученном откуда-то разъяснении, что испытываемые сроки должны остаться точь-в-точь такими же, какими были и до манифеста.⁸

Это было одно из самых горьких разочарований для долгосрочных... Вечный, к которому применили манифест, становился двадцатилетним каторжным, двадцатилетний-тридцатилетним, но малоутешительно было это сокращение в далеком будущем, когда в данный момент первому из них предстояло по-прежнему отсиживать в тюрьме одиннадцать, второму – семь лет с ошельмованной бритьем головой и закованными в кандалы ногами.

Но были еще и другие черты в применении к каторге манифеста, дававшие ей повод думать, что местное начальство "украло" у нее царскую милость. В манифесте было, правда, оговорено доброе поведение, раскаяние и другие условия его применения, и оговорку эту слышали все собственными ушами, но каждый понимал дело так, что во внимание принято будет его поведение лишь в ближайшее к изданию манифеста время, а отнюдь не все те провинности, какие были замечены и внесены в книгу живота^[19] три, четыре и даже десять лет тому назад. Каково же было общее изумление, когда на деле все такие арестанты оказались изъятими из манифеста, и прежде всего так называемые беглецы, то есть когда-либо делавшие попытку бежать с каторги. Суровость этого последнего изъятия особенно резко бросается в глаза, так как мне не раз уже приходилось указывать, насколько строго и подчас несправедливо караются нашим законодательством побег и как бывает мрачна по своей полной безнадежности участь бегунов в каторге.

– Украло у нас манифест сибирское начальство! Шемякин суд! – говорила кобылка, в отчаянии махая рукой. – Эх, где наше не пропадало!..

Много забористой брани рассыпалось в эти дни по адресу начальства, но чуть ли не больше всех досталось старику священнику, на которого почему-то всю вину свалили.

⁸ Тюремный срок каторжных зависел от числа лет всего присужденного им срока. Так, для вечных он равнялся одиннадцати годам; для осужденных на 16, 17, 18, 19 и 20 лет – семи годам; на 13, 14 и 15 – пяти годам; 10, 11 и 12 – трем с половиной и т. д. Каторжные, имевшие больше 12 лет всего срока, считались первым, или рудниковым, разрядом и не пользовались в обычное время никакими скидками, кроме двух месяцев с года за хорошее поведение. Каторга же малосрочных благодаря большой "горной" сбавке и в обычное время сокращалась почти наполовину. Таким образом, чем длиннее срок каторжного, тем положение его хуже во всех отношениях. (Прим. автора.)

– Долговолосый дьявол!.. "Ну, теперь, говорит, ребятушки, помолимся покрепче, – передразнивали его, кипя непонятной злобой, – потому и те из вас, которые того не заслуживают, и те получают две трети!.." О, грива твоя нечесаная, чтоб тебе пусто было! Получили!.. Две трети!.. У, жеребьячья порода!

Беспощадно осмеивались также те из арестантов, которых видели ставившими свечи во время молебна. Уличаемые отпирались и, в свою очередь, указывали на других. Одни краснели конфузливо, другие свирепо огрызались.

Немало происходило по этому поводу забавных и вместе печальных сцен.

VI. На очной ставке

Население нерчинских рудников в последнее время сильно таяло независимо от манифеста благодаря частым выборкам здоровых арестантов на Сахалин и главным образом потому, что из России временно почти прекратился приток свежих партий (вероятно, также благодаря усиленному требованию их на Сахалин). Население Шелайского рудника редело не по дням, а по часам; не хватало здоровых арестантов для исполнения даже тех несложных функций, какие имелись в его повседневной жизни. Особенный недостаток чувствовался в мастеровых всякого рода. В гору наряжали совсем мало народа, и Монахов прекратил действие одной из шахт. Между тем из маленьких партий, время от времени продолжавших все-таки прибывать в Нерчинскую каторгу, в Шелай не назначили почему-то ни одного человека: арестанты объясняли это "варварской" славой бравого капитана и дурными отношениями к нему заведующего каторгой. Предполагалось, что Шестиглазый жить не может, "спать спокойно не может без нашего брата" и что этим игнорированием его тюрьмы ему можно насолить всего сильнее. Говорили, что он то и дело посылал "затребование" новых людей, и временами к нам присылали, действительно будто на смех, двух-трех старичков, которых давно уже следовало бы поселить в богадельню, кривых, хромых, не способных ни к какой работе и не знающих никакого ремесла. Лучезаров тогда рвал и метал и немедленно отсылал новую "партию" обратно, отзываясь, что у него нет свободных мест в лазарете.

С уменьшением числа сильных и здоровых элементов в тюрьме на места так называемых "домашних" рабочих, камерных старост, парашников, больничных и других служителей, тяжести работ которых Лучезаров не верил, все чаще и чаще ставились слабосильные старики и заведомые больные, сифилитики, чахоточные. Один только гигант Юхорев сумел как-то и в это время сохранить за собой место общего старосты, позволявшее ему целый день лежать на боку или слоняться без дела по тюрьме. Шестиглазый, очевидно, был чрезвычайно к нему расположен и, по рассказу самого Юхорева, говорил ему:

– На должности старосты непременно должен быть такой человек, как ты, – с хорошей глоткой и здоровым кулаком, чтобы живо можно было унять недовольных! Не допускай, чтобы в тюрьме слышалась воркотня на пищу или тяжесть работ. Чуть что, не докладывая мне, расправляйся сам с буянами.

– А по мне, пускай что хочет брешет, собачий сын! – прибавил от себя Юхорев, передавая такие поучения бравого капитана. – Я слушаю, да молчу. Что мне мешает вытянуться по-солдатски да гаркнуть: "Слу-шаю-с, господин начальник!" Душа из него вон.

И Юхорев продолжал быть тюремным царьком и все больше и больше забирать в свои руки власть над артелью. Это была вообще деспотическая натура. Ради соблюдения одной формы ходил он иногда по камерам и спрашивал: "Ребята, желаете ли того-то и того-то?" Но из самого тона, каким он задавал вопрос, сейчас же было видно, что ему самому кажется желательным, и ответ шпанки всегда был обеспечен. Случалось, что за глаза Юхорева не одобряли, поговаривали даже, что он заважничал и что нашлось бы, мол, из кого и другого старосту выбрать, но говорилось это несерьезно, так как отлично все понимали, что никто другой в тюрьме не в состоянии тягаться с Юхоревым ни в уме, ни даже во внешней представительности. Стоило только появиться в толпе арестантов могучей фигуре Юхорева, как все они начинали казаться перед ним мелкими мухами, самой заурядной шпанкой. Существовала также преувеличенная уверенность в том, что общий староста пользуется огромным влиянием на эконома, обдувает его в пользу артели и вообще держит в ежовых рукавицах. Мне самому действительно приходилось слышать в кухне, как Юхорев в глаза называл эконома шепелявым чертом, и тот только добродушно ежился да отшучивался. Но "шепелявый черт", со своей стороны, был достаточно пронырливая бестия, чтобы в чем-нибудь уступать самому хитрому и

ловкому арестанту; восхищение кобылки умом своего старосты было чисто платоническим, никаких видимых благотворных для себя плодов от его победоносной политики тюрьма не видела; напротив, баланда в котле становилась с каждым месяцем все водянистее и безвкуснее, мяса все меньше и меньше; сало для каши то под тем, то под другим предлогом не выдавалось целыми неделями. Все это кобылка отлично видела и чувствовала, но личность Юхорева была слишком обаятельна и слишком подавляла всех, чтобы раздалась наконец против него громкие протесты.

Между тем сам Юхорев, от природы жилистый и сухощавый, начинал лосниться от жира и избытка здоровья; он не пил чаю без молока, курил только хороший табак, ел много мяса и даже бывал иногда пьян, доставая спирт от фельдшера Землянского, с которым вел большую дружбу. Он сам похвалялся после одного из тюремных обысков, что если бы пошарили хорошенько в его бушлате, то нашли бы там целых двадцать пять рублей. Откуда у него взялись такие деньги? Откуда он брал молоко, мясо? Кобылка старалась не думать о таких щекотливых вопросах, продолжая молчаливо и безропотно питаться помоями.

В один из воскресных дней Штейнгарт, Башуров и я гуляли, по обыкновению, втроем в коридоре, как вдруг Юхорев крикнул с порога своей камеры:

– Валерьян, завтрак подан, иди, дружище!

– Какой такой завтрак? – с недоумением обратились мы к товарищу.

Башуров сконфузился.

– Да, знаете, там... Юхорев часто потчует... Неловко как-то отказываться.

– Чем он потчует?

– Ну, разным там, картошкой, иногда мясом...

– Да разве вы не знаете, откуда он берет все это? Ведь он у артели крадет, и если мы станем участвовать в его пирушках, как начнут глядеть на нас арестанты? Юхореву простят, а нам нет.

– О! да они ведь все участвуют... У нас чуть не вся камера ест картошку!

– Вот именно: "чуть не вся"... Какому-нибудь Карпушке, наверное, ничего не дают? Ваша камера имеет завтраки только потому, что в ней случайно скопились иваны, а другие сидят голодными.

– Мелочный вы ригорист, Иван Николаевич! Несчастливая какая-нибудь картофелина или луковица... Ведь обидишь отказом!

Штейнгарт резко стал, однако, на мою сторону, и смущенный Башуров от завтрака на этот раз отказался. Но прошло несколько недель, и я опять имел случай убедиться, что по бесхарактерности или излишней деликатности Валерьян возобновил участие в юхоревских пирушках. Затевать по этому поводу новые прения я не счел возможным, зная огромное самолюбие Башурова, и предпочел махнуть рукою, сказав себе мысленно, что в конце концов каждый из нас отвечает только за свой личный образ действий... Но мне сильно по-прежнему не нравилось, что дружба его с Юхоревым росла, казалось, не по дням, а по часам и что он продолжал вступать в фамильярную и, во всяком случае, ненужную близость и с другими также арестантами. Они позволяли себе хлопать его по плечу, называли просто по имени, отпускали на его счет грубоватые шутки. Я и сам никогда не держался с арестантами недотрогой: напротив, многие из них называли меня даже "волынщиком"... Но, затеявая все подобные "волынки" (с Чирком, Ногайцевым, Сохатым и др.), я старался никогда не переходить в них за известный предел сдержанности и чувства собственного достоинства. Штейнгарт еще больше моего был в этом отношении мнителен. Но теперь, когда неосторожный товарищ стал практиковать совершенно новую политику отношений, мы оба инстинктивно сжались и сделались в обращении с арестантами более прежнего замкнуты и сухи. Наблюдательная кобылка скоро заметила это обстоятельство и нередко стала Подчеркнуть в нашем присутствии (то будто в шутку, то будто

всерьез), что вот, мол, Валерьян Башуров – простой человек, душа-человек, не то что мы двое – гордые люди, гнушающиеся темным людом...

Но, как и предсказывал Штейнгарт, Валерьян не смог надолго остаться в одном и том же настроении, и у него там и сям стали случаться резкие стычки с приятелями-арестантами. Об одной такой стычке с любимым его "учеником" Быковым заговорили во всей тюрьме. Этот Быков был выдающаяся в своем роде фигура, и я должен сказать о нем несколько слов. Ближайший друг Юхорева, он был обязан, однако, своей заметностью не каким-либо внутренним, а почти исключительно внешним качествам. Туповатый и недалекий малый, ростом он был чуть не головой выше Юхорева и Сохатого, по при этом сух и тощ, как спичка; огромный четырехугольный череп, мертвенно бледное лицо с глубоко впавшими карими глазами и чуть заметной желтой бородкой, длинные костистые руки, отличавшиеся феноменальной силой, – таков был облик этого страшного живого скелета, в дополнение ко всему имевшего грубый, неприятный голос с отрывистым смехом... Пришел Быков в каторгу за насилие над женщиной, хотя сам он находил свое осуждение возмутительно жестоким и несправедливым делом.

– Ха! Закон! – говорил он своим жестким, сердитым басом, – Какой тут может быть закон? За какую-нибудь шляющуюся старушонку послать человека в каторгу...

– Но это ведь правда, что вы обидели ее, Быков?

– Какая тут может быть обида? Ну, кабы девка молодая аль мужняя жена, тогда бы другое дело. А то вдова-старушонка и с лица-то прямо ведьма ведьмой!!

– Все равно – женщина...

– Э, да вы, Миколаич, известно, всегда за это поганое сословие стоите! А вы послушайте, как было дело-то. На прииске я жил, и старушонка эта там же где-то поблизу жила. Вот и встретили мы ее, несколько парней, в лесу... Праздничным было делом – ну и выпимши все здорово. Нешто в трезвую башку взбрела б такая глупость? Нешто денег у нас не было аль охочих девок не хватало? Ну, а она, ведьма, закуражилась... Другая бы еще за честь почла... хо-хо-хо, с молодыми-то парнями погулять... А она рыло прочь! Ну... ну и пришлось насильством.

– Как же она потом доказала на вас?

– Свидетели нашлись. Двое из нашей же компании непьяных было... Еще отговаривали нас... Ну, а потом, как сволочь-то эта заявила на них, они и не стали запираяться, указали на меня с товарищами. И вот восемь лет каторги, как пить дать, готово! Ну какой же это закон? Не закон это, а, прямо сказать, разбой!

Из внутренних качеств Быкова, кроме упомянутой уже недалекости, выдавались еще чисто ослиное упорство и болезненно развитое самолюбие, способность видеть обиду даже там, где ее и тени не было. Мня себя очень неглупым человеком, он не допускал ни малейшего возражения в спорах и сейчас же начинал фыркать. Раз летом, любуясь со двора тюрьмы на красиво разливавшийся по сопкам цвет багульника, я спросил проходившего мимо Быкова, какого он представляется ему цвета.

– Ну да, алого, вестимо, алого, – категорически Заявил он.

– А мне кажется, лилового, – высказал я свое мнение, – алый как будто совсем не такой... Быков сейчас же обиделся.

– Еловый?.. Я не знаю, какой такой еловый свет... Зачем и спрашиваете, коли сами всё знаете? Мы в попы ведь не метим. Хо-хо! Еловый свет!

И, надувшись, отошел прочь.⁹

Вот с этим-то человеком у Валерьяна Башурова и, произошло вскоре резкое столкновение. При установившейся раньше фамильярности отношений не мудрено, что в ответ на какую-

⁹ Кстати сказать, я и до сих пор не в состоянии определить этот цвет. Мне указывали, что в первой части "Мира отверженных" встречаются такие противоречащие одно другому выражения, как "лиловый" и "красный" цвет багульника. Но я думаю, это вовсе не противоречие: обыкновенно лиловый, при известном освещении цвет, этот принимает красный оттенок. (Прим. автора.)

то грубость Башурова (вроде "отойдите прочь, не мешайте мне!") Быков сам послал учителя в какие-то не очень двусмысленные места... Не ожидавший ничего подобного Башуров вскипел гневом и потребовал от Быкова, чтобы тот немедленно перед ним извинился. Быков, вместо извинения, закатился самым обидным хохотом и к первой грубости прибавил еще несколько площадных слов. Влиятельные арестанты, вроде Юхорева, поспешили удалиться из камеры, точно и не слышав ссоры; оставшаяся шпанка хранила безмолвный нейтралитет.

– Я всегда предупреждал вас, Башуров, – высказал я товарищу свое мнение, когда он рассказал мне эту историю, – так как на площадную брань мы не можем отвечать арестантам такой же бранью, то нам вообще не следует входить в чересчур близкие отношения с ними.

– Ах, право же, этот Быков исключение! Это такой осел...

– Ну, делать все-таки нечего, – решил Штейнгарт, – не лезть же тебе драться с ним.

В душе я чувствовал большое раздражение против товарища, обвиняя скорее его, нежели Быкова, с которого и спрашивать много нельзя было; тем не менее официально и я счел нужным несколько надуться на этого последнего, суше обыкновенного отвечая на его заговариванья при встречах. Вообще после этого случая мы с Штейнгартом еще больше насторожились; стоило теперь кому-нибудь из нас троих заговорить в присутствии кобылки что-нибудь лишнее или, как другим казалось, нетактичное, как уже слышалось из нашей кучки предостережение: "Noblesse oblige,¹⁰ господа!.."

Проученный столкновением с Быковым и целым рядом других более мелких стычек с сожителями, сам Башуров стал подозрительно относиться ко всем арестантам, с которыми раньше допустил излишнюю близость. Он все чаще стал грубо обрывать фамильярное обращение с собою и получать в ответ, разумеется, такие же грубости. Популярность его так же быстро начала падать в тюрьме, как раньше быстро создавалась. В конце концов и с Юхоревым у него началось охлаждение. На беду свою Башуров был чересчур откровенен и неосторожен в громком высказывании своих мыслей об артельных обычаях и порядках. Прежде, когда он держал себя с сожителями на равной ноге, самые резкие замечания его на этот счет прощались или обращались в шутку; но теперь, когда под влиянием обиженного самолюбия он попробовал круто изменить первоначальное поведение, оставляя, однако, за собой право разыгрывать роль цензора нравов, арестанты не захотели признавать за ним этого права. Вот на какой почве произошла первая его ссора с Юхоревым, недели две спустя после объявления в тюрьме манифеста. Придя раз утром в кухню за кипятком и увидев кухонников сидящими за каким-то завтраком, он сказал, смеясь:

– Хорошо вам жить, господа, с теперешним старостой! Кормит он вас точно на убой.

Слова эти были приняты, казалось, за шутку, но когда Валерьян ушел, в кухне разыгралось целое драматическое представление. Явившемуся туда Юхореву сообщили, будто Башуров говорил о составившейся в кухне под его предводительством шайке. Как взбешенный лев, прибежал Юхорев в камеру и торжественно заявил Валерьяну:

– Я этого не ожидал от вас, Башуров. Мы жили до сих пор дружно, а теперь я вижу, что вы камень за пазухой держите. Только вам следовало бы доказать сначала, что я атаман какой-то там шайки, обворовывающей артель!

Башуров пробовал оправдаться: – Я пошутил, меня неверно поняли...

– Ну, так не шутят у нас, – внушительно возразил Юхорев и прибавил: – Впрочем, мне хорошо известно, откуда все это идет и кто вас настраивает против меня. Слишком уж высоко нос загибаете, господа!

– Кто меня настраивает и кто нос загибает? – допрашивал Валерьян.

– Да уж знаем мы кто! – сказал, как отрезал, Юхорев и выбежал, вон из камеры.

¹⁰ Положение обязывает (*франц.*).

Узнав об этом разговоре, я ни минуты не сомневался в том, что разумел он главным образом меня. Еще до прибытия новичков я был по отношению к нему всегда крайне сдержан, как бы инстинктом чуя в нем хотя и выдающуюся, но лишенную всякого морального элемента силу, от которой благоразумнее стоять подальше; с, началом же дружбы Юхорева с Башуровым я (также, быть может, бессознательно) стал с ним не только сдержанным, но даже и холодным. И я чувствовал, что эта вибрация моих отношений не оставалась незамеченной умным арестантом. Он был по-прежнему безукоризненно вежлив со мной и Штейнгартом, но в вежливости этой уже чуялась затаенная вражда. Его, очевидно, глубоко задевало и оскорбляло, что с нашей стороны он не встречал того же товарищеского доверия и желания сблизиться, как со стороны экспансивного Валерьяна.

Друзья Юхорева несколько дней подряд находились в сильной ажитации и все время о чем-то совещались, расхаживая в свободные от работы часы по тюремному двору. В кухне появление каждого из нас троих встречалось гробовым молчанием. Главный повар, татарин Азиадинов, отнесшийся вначале со смехом к шутке Башурова, теперь больше всех дулся и даже не отвечал на наши вопросы. Когда наступил ближайший постный день, в который готовилась баланда из нашего мяса, оказалось, что Юхорев, Быков, Азиадинов, Шматов и еще два-три человека сварили себе отдельную постную баланду, а при субботней раздаче по камерам нашей махорки они же отказались от своих порций. Это был явный протест. Борьба принимала острый и довольно неприятный характер...

Хлебопек Огурцов, совсем еще молодой и необыкновенно смешливый парень, до тех пор очень друживший со мной, теперь, когда я показывался в кухне, конфузливо отворачивался, точно не замечая меня. Но раз под вечер, когда я заваривал себе перед самой поверкой чай, он незаметно для других арестантов приблизился ко мне и быстро вложил в руку записку. Вернувшись в камеру я прочел следующие безграмотные строки: "иван мекалаеч шайка Наша говорят что у вас тожи своя шайка что вы вней отоман что вы тесните тюрьму сводите напраслену на Иванов. А я видит бох люблю вас да боюс того гледи побют юхореф говорит, что вы купили меня табаком ваш верный лечарда Огурцоф".

Я должен рассказать здесь историю этого "верного Ричарды" – она небезынтересна. Огурцов явился вместе со мной в Шелай совсем почти мальчиком, безусым бутузом с свежееокругленными щеками и атлетическим сложением, но главное – с такой наивной, неиспорченной душой, что просто жаль было смотреть на него, облеченного в серую куртку с двумя черными каторжными тузами на спине. Недаром кобылка называла его "травой" – он, и точно, был травой без всякого собственного цвета и запаха, белой доской, на которой жизнь могла написать, что хотела. Имея в плечах чуть не косую сажень, круглое толстое лицо (которого, как острили арестанты, в три дня было кругом не объехать), и огромный кулак, тяжелый словно пудовая гиря, восемнадцатилетний Огурцов был безобиден и незлобив, как голубь, в ответ на всякую брань умел только хихикать и хвататься за живот, и как-то с трудом даже верилось, что этот юный и недалекий геркулес пришел в каторгу за убийство человека. Он совершил, впрочем, это убийство без всякого желания и намерения, почти случайно. Товарищи зазвали однажды Огурцова в кабак, и когда он отказался там от питья водки, сидевший в кабаке пьяный как стелька фельдфебель предложил честной компании насильно влить ему в рот стакан спирта. Защищаясь от этого остроумного предложения, Огурцов хотел, по его словам, "смазать" пьяного солдата по роже, но так неосторожно угодил кулаком, по виску, что у несчастного раскололся череп и дух вылетел моментально.

Со мной Огурцов сдружился с первых же дней общего пребывания в тюрьме и, хотя не жил в одной камере, учился урывками грамоте, которая давалась ему очень туго; он с большой охотой вел также "ученые" разговоры, подобно Кифе Мокиевичу,^[20] допрашивая меня, например, о том, почему у человека только две ноги, а он, однако, умнее петуха. При этом, о какой бы важной материи ни заходила беседа, он то и дело закрывал почему-то одной рукой рот,

а другой держался за живот, приседал и закатывался тоненькими смешками; это было обычным выражением его удивления... Кобылку Огурцов ценил, подобно Лунькову, очень низко как в нравственном, так и в умственном отношении" возмущался арестантскими обычаями и порядками и держался в стороне от общей тюремной жизни.

Однажды понадобился на кухню новый хлебопек. Лучезаров окинул глазами строй арестантов и облюбовал почему-то Огурцова. Последний был в страшном огорчении. Его богатырское телосложение требовало свежего воздуха и здоровой работы, а душная и жаркая атмосфера кухни только распаривала человека, расслабляла мускулы, наполняла ленью и жиром. Он готов был кричать от страшных головных болей, которыми начал страдать, но на все просьбы отослать его в рудник бравый капитан отвечал одно:

– Вздор, братец, вздор! Привыкнешь. Хлебопек тоже должен быть сильным человеком. Да и фамилия твоя недаром Огурцов: ты здоров и свеж, как молодой огурец. Хлебопек таким и должен быть.

И Огурцов действительно привык к кухне. Он страшно обленился и зажилел; румяные, нежные тона быстро исчезли с его лица и уступили место ярко-белому, бескровному цвету нездоровой одутловатости. Он уже не рвался больше на тяжелую работу и вполне доволен был своим новым положением; а так как кухня всегда была центром разных арестантских мошенничеств" Огурцов же был "травой", малым без всяких умственных и нравственных устоев, то не прошло и году, как в нем стали проявляться самые несимпатичные черты и свойства. За ошкурком его зазвенели деньги, за чаем стало появляться всегда молоко... Сначала объектом эксплуатации был, как и у Юхорева, "шепелявый дьявол", но с течением времени полетели ключья и с бараньего стада каторжной кобылки. На моих глазах развращался и портился Огурцов, быстро грубея даже во внешнем обращении с людьми: подобно всем Иванам, в стычках с мелкой шпанкой он начал употреблять бранные окрики и показывать свои здоровые кулаки; а когда я пробовал, по старой памяти, в качестве учителя читать ему наставления, он, по старому же обыкновению, хватался руками за живот и хихикал густым, как у перепившегося дьякона, басом, но в душу ему слова мои, очевидно, уже не западали. После каждой из таких бесед я получал только записку с подробным перечислением всех мошеннических проделок товарищей по кухне. В то время, о котором я начал рассказывать, заживевший и ошпаневший Огурцов сохранял только тень моего бывшего расположения к себе, хотя сам он и продолжал в своих записках-доносах подписываться моим "верным личардой".

Тяжела была моральная атмосфера кухни, этого тюремного клуба, в котором полновластно царил Юхорев. Но он же царил и над больницей, благодаря своей закадычной дружбе с фельдшером Землянским. Едва последний вбегал в больницу, всегда пьяный, с налитыми кровью мошенническими глазами на черном, как у цыгана, лице, как туда же спешил и общий староста. Казенного больничного спирта едва хватало и на одного Землянского, но за деньги он приносил вино под видом лекарства с воли, и я нередко видал Юхорева, Быкова и других арестантских иванов изрядно навеселе. В больнице юхоревским агентом был лазаретный служитель Мишка Биркин, по прозвищу Звездочет, юркий, живой, необыкновенно легкомысленный весельчак и щеголь из бывших солдат. Биркин льнул, между прочим, и ко мне, десять раз на день забегая на минуту в мою камеру и задавая мне какой-либо ученый вопрос:

– А скажите, Иван Николаевич, есть ли где-нибудь конец звездам на небе?

Или:

– Возможно ли, Иван Николаевич, прокопать землю насквозь?

Вопросами о мироздании, о звездах и пр. он наиболее, по-видимому, интересовался, за что и получил от арестантов насмешливое прозвище Звездочета; но когда он задавал любой из подобных вопросов, я хорошо видел, что и он, подобно Огурцову, очень мало, в сущности, им интересуется и в то самое время как, слушая мой ответ, глубокомысленно глядит прямо в мои

глаза, мысли его несутся уже далеко-далеко, и с губ срывается фраза о чем-либо совершенно постороннем и астрономии и геологии.

– А знаете, какую сегодня пулю отмолил Землянский? "Вот что, говорит, Мишка: если придут сегодня больные, гони их в шею! Нет у меня лекарств, а от работы освобождать я боюсь".

И Мишка, еще не окончив своего сообщения, уже стрелой убежал из камеры. Вечно он куда-то торопился, вечно о чем-то заботился, и румяное лицо его с взъерошенными усами всегда казалось чем-то встревоженным и взволнованным. За эту свою непоседливость и суетливость Биркин носил также прозвание "Собачьей почты".

Несмотря на то, что Юхорев не только походя ругал Мишку самой увесистой и циничной бранью, но нередко и колотил основательнейшим образом, Мишка буквально благоговел перед ним, питая какую-то чисто собачью привязанность, вполне бескорыстную и самоотверженную.:

В тюрьме такую же роль преданной собаки по отношению к Юхореву играл Шматов (он же и Гнус), который благодаря страшной астме был совершенно освобожден врачом от работ и имел массу свободного времени для всякого рода волюнок, интриг и сплетен. Несколько раз пытался Шестиглазый засадить его все-таки в мастерскую в качестве починщика старой арестантской лопоти, но проходило два-три дня, и Шматов опять отбивался от работы и, дыша как паровик, по-прежнему начинал праздно слоняться по тюрьме, разнося по камерам, по кухне и больнице всякого рода тюремные новости и "бумб". Другим таким же вестником был сапожник Звонаренко ("Кожаный Гвоздь"), тоже чахоточный человек, крикливый и необыкновенно злой на язык; но этот был характера самостоятельного: непримиримый, обличитель всякого рода неправды и нарушения артельных интересов (хотя, конечно, готовый при случае и сам погреть около артели руки), он во все совал свой нос, везде находил "неправильность поступков" и, расхаживая по тюрьме, громко кричал об этом своим тонким, бабьим голосом, беспрестанно кашляя и хватаясь руками за впалую грудь. В награду за свою "любовь к правде" Звонаренко нередко получал жестокие побои от тюремных воротил. Перед нами же он всегда лисил и заискивал.

Но вот явилась наконец долгожданная новая партия в шестьдесят четыре человека. В тюрьме поднялась невообразимая беготня и возня; не только Шестиглазый, но и все надзиратели чего-то ликовали и торжествовали. Освободили для новичков три крайних камеры, выгнав оттуда старых арестантов и разместив по остальным шести номерам. Смешивать всех вместе почему-то не торопились, и в течение нескольких дней новая партия жила совершенно отдельной жизнью в отдельном коридоре, имея даже своего особого старосту. Мне также предстояло оставить насиженное гнездо и перейти в другую камеру. Штейнгарт настаивал, чтобы я воспользовался этим случаем и записался на некоторое время в больницу, чтобы там на более питательной пище поправить свое довольно расстроенное здоровье. Не сладка была, впрочем, и перспектива лежания в тесном, душном лазарете, совершенно переполненном больными, среди которых были и тифозные из только что пришедшей партии смерти одного из них ожидали с минуты на минуту. Особенно покорило нас, когда мы узнали от Биркина, что белье этого больного, испачканное экскрементами, вот уж третьи сутки лежит здесь же, в лазаретном чулане. Возмущенный Штейнгарт тотчас же заявил фельдшеру, что белье необходимо немедленно убрать. Землянский, давно уже косившийся на то, что "арестант" свободно заходит в аптеку и распоряжается в ней по своему усмотрению, отвечал очень грубо:

– А вот когда накопится больше, тогда и велю убрать!

Штейнгарт вспылал:

– Сейчас же извольте очистить чулан! Если вы будете распространять здесь заразу, я на вас врачу пожалуюсь.

Тотчас же после стычки, но еще не зная о ней, пришел и я просить Землянского записать меня в лазарет. Он рвал и метал в аптеке, бил в бессильном бешенстве склянки, бросал на пол вату и бумагу.

– Места нет в лазарете! – коротко отрезал он.

– Неправда, Штейнгарт говорит, что есть. Черные воровские глаза Землянского забежали в разные стороны, сверкая злым огоньком. Он как будто обдумывал план борьбы.

– Ну, есть. Да какая вам будет польза от этого места? – сказал он наконец, стараясь быть хладнокровным. – Вам нужна улучшенная пища, хлеб и молоко, а "третьи порции" все в разборе. Ложитесь, пожалуй, если хотите, на койку, только станете получать ту же пищу, что и в тюрьме. Начальник и то сердится, что я больше, чем следует, третьих порций назначаю.

И достав из шкафа какие-то отчеты, он быстро начал перечислять мне все имеющиеся в его распоряжении денежные средства, "вторые" и "третьи" порции и т. д. Эти порции, о которых постоянно толковали и фельдшер, и староста, и больничные повара, служили всегда камнем преткновения для моего понимания: даже Штейнгарт не совсем ясно понимал порядок их назначения, а потому я предпочел просто спросить Землянского:

– Так, значит, вы начальника боитесь – назначить мне молочную порцию?

– Да, начальника... Вот странное дело, Штейнгарт тоже пристает ко мне насчет белья... А что ж мне делать, если начальник велит держать в чулане?

Я тотчас же отправился к воротам и попросил дежурного доложить начальнику о моем желании видеть его по важному делу. Лучезаров, как всегда, без замедления вызвал меня в контору. Когда я сообщил ему, что фельдшер ссылается на его авторитет, отказываясь убирать экскременты тифозных и принять меня в больницу, он пришел в страшное бешенство и обещал сию же минуту нарядить "следствие". Действительно, через час времени в тюрьму явился из конторы письмоводитель и стал поодиночке допрашивать в дежурной комнате меня, Юхорева и некоторых больных, лежавших в лазарете. Между прочим, письмоводитель задал мне вопрос; не слыхал ли я чего-нибудь о том, что Землянский приносит в тюрьму водку или продает Юхореву казенный аптечный спирт?

Из этого вопроса очевидно было, что у Шестиглазого уже имелись на этот счет какие-то сведения. Я отвечал, конечно, что не слыхал ничего. Что говорили Юхорев и другие допрошенные арестанты, я не знаю, но о фельдшере большинство отозвалось, что он ведет свое дело отлично, и никаких претензий к нему арестанты не имеют. Таким образом, моя жалоба осталась единичной, и "следствие" не привело ровно ни к каким благотворным результатам.

А между тем в тюрьме началось сильное волнение. Юхорев произнес в кухне против меня с товарищами целую речь.

– Вот они, хваленые-то благодетели! – гремел он, потрясая своей могучей головой. – Мы да мы!.. Мы за парод стоим, мы доносчиков ненавидим... А кто же, скажите, о спирте донес? Почему письмоводитель так сразу и выпалил мне: "А правда ль, Юхорев, что ты у Землянского спирт покупаешь?" Ведь ни один честный арестант не возьмет во внимание доносами заниматься... Ах вы, фискалишки паршивые, бумагомараки! Знаю я теперь настоящую цену вам!

Обвинение в фискальстве, исходящее даже из юхоревских уст, признаюсь, как ножом резнуло меня по сердцу. Штейнгарт был где-то вне тюрьмы у своих многочисленных пациентов, и посоветоваться было не с кем. А душа так наболела за последние дни, нервы так расходились, что под влиянием горького чувства обиды я потерял голову и предпринял большую глупость, которая могла кончиться самым неприятным для нас всех образом: в пылу негодования я обошел все шесть камер, где жили старые арестанты, и пригласил их в свой номер на сходку "по очень спешному делу". Кобылка, очевидно, сразу догадалась, о каком щекотливом деле шла речь, потому что большинство не шевельнулось даже с места, и на сходку из семидесяти человек собралось не больше пятнадцати – двадцати... Среди них было очень мало безусловно сочувствовавших мне лиц, но зато все друзья Юхорева – Быков, Азиадинов, Шматов, Биркин

и во главе их сам он – были на виду. С неостывшим еще чувством возмущения я спросил у собравшихся, какой повод дал я арестантам за несколько лет жизни в их среде оскорбить меня прозвищем фискала... Не успел я кончить свою маленькую речь, как Шматов, стоявший на нарах, крикливо загнусавил:

–: Они думают, что купили нас своим табаком да мясом! Мы рта не смей разинуть!

– Ха! Купили! – иронически поддакнул ему верзила Быков. Фыркнуло и еще несколько человек.

– А я скажу вот что, – продолжал шипеть Гнус, – перестану я вовсе курить, помру я с голоду на шестиглазовском брульоне, да останусь зато вольным человеком... Вот что!

– Молчи, гнусина проклятая! – вдруг притопнул на него Юхорев, любивший во всем обстоятельность и желавший соблюсти цивилизованные формы прений со мною. И смело выступил вперед. – Дай прежде людям слово сказать.

– А я говорю: помру лучше!.. – прошипел еще раз Шматов, патетически ударяя себя в грудь.

– Ты еще станешь мешать мне?! – вне себя закричал Юхорев и сделал гневное движение, намереваясь схватить Гнуса за шиворот. Гнус юркнул куда-то в угол и замолчал.

– Теперь я, старики, говорить буду, – начал Юхорев, и, признаюсь, он был живописен в эту минуту, гордо выпрямившийся во весь свой огромный рост: побледневшее от волнения смуглое лицо, точно изваянное из бронзы, казалось страшным и величавым; свирепые серые глаза загорелись враждою; железная рука вытянулась вперед – и в этом неподвижном положении он живо напомнил мне (рискуя показаться смешным, но это так) грозную статую Антокольского "Петр Великий"... Против воли я почти залюбовался своим противником.

– Я буду теперь говорить, старики. Жалуетса Иван Николаевич, что я его фискалом обозвал. Это точно, обозвал. Ну и как было не подумать и не высказать? Бежит Иван Николаевич к начальнику на фельдшера доказывать. А наша кобылка доказательств не обожает!

– Да, на своего брата! – негодуя, прервал я. – А Землянский ведь – начальство.

– Позвольте, Иван Николаевич, – вежливо отстранил меня Юхорев, – я теперь говорю... Для нас Землянский не начальство, а почти, можно сказать, свой брат! Не знаем, как вы, а мы вполне довольны этим фершалом.

– Душа-человек для нас, арестантов! – загнусавил Шматов.

– Чего и говорить! – поддержал Быков.

– Про этого фельдшера вы ничего дурного не скажете? – спросил я, оглядываясь кругом и снова до глубины души возмущаясь, – и заметил, как некоторые из арестантов скосили глаза, чтобы избежать моего взгляда.

– Разные у нас с вами требования от фершала, – заговорил опять Юхорев, – в этом и все дело. Вы наших арестантских нравов не знаете. Не о том, однако, речь. Очень, конечно, приятно слышать, что вы не доносили Шестиглазому об моем пьянстве, но я все-таки виновным себя в поклепе не признаю. Является по вашему зову в тюрьму письмоводитель и вдруг, допросив сначала вас, начинает всех спрашивать о спирте. Ясное дело, на кого тут подумать! А вот что скажут ребята, ежели я объясню им другую штуку. Этот же самый Иван Николаевич, который так возмущен моими словами об его фискальстве, сам пустил по тюрьме бумо, что Юхорев, мол, когда ходит к начальству с пробой, обсказывает ему разные ябеды на арестантов.

– Вы в своем уме, Юхорев?!

– Не беспокойтесь. Вы сказали Огурцову, что я просил начальника убрать его с кухни, как ленивого и супротивного мне человека.

На минуту я почувствовал себя ошеломленным, подавленным. Смутно я припомнил, что действительно было нечто подобное! Чуть ли еще не за полгода до этого времени Лучезаров в одной из бесед со мною у себя в конторе сказал:

– В тюрьме только и осталось теперь два настоящих богатыря – Юхорев да Огурцов. Их следовало бы, собственно, в рудник отправить, но и на этих местах они очень нужны. А кстати, какого вы об них мнения?

– Ничего, добрые, кажется, малые, – отвечал я уклончиво.

– В Юхорева, откровенно скажу вам, я просто влюблен: этакий молодчинища на вид! Да и умей, бестия. Но вот на Огурцова он все жалуется: очень ленив и затевает свары на кухне.

Признаюсь, эти слова в то время неприятно поразили меня: до тех пор я не думал, чтобы Юхорев в борьбе с противниками не прочь был прибегнуть и к наущничеству. Как раз в тот же день Огурцов подошел ко мне и начал жаловаться на то, что в последнее время Шестиглазый все придирается к нему, бранит за леность и грозит карцером. Парень казался так искренно огорченным и недоумевающим, что я почувствовал все бывшее расположение к нему и для чего-то сказал:

– Я бы мог назвать вам человека, который вредит вам, да боюсь, вы разболтаете...

Огурцов закрестился обеими руками и стал божиться, что будет нем, как могила.

Какой смысл, какая цель была сообщать ему о моем разговоре с Лучезаровым? Разумеется, это было в высшей степени глупо, но бывают иногда в жизни сумасшедшие минуты, и я назвал Огурцову Юхорева. Назвал – и сейчас же понял, какую непростительную бестактность сделал, но вернуть сказанное было уже невозможно. Тщетно старался я по возможности смягчить вину Юхорева, придать ей характер шутки, допустить даже ложь со стороны brave капитана, – Огурцов твердил одно:

– Нет, это не ложь... Так вот где сука-то кроется! Я так ведь и думал... Ну, укараюлю ж и я стервину, не прощу!

Мне оставалось заставить Огурцова еще раз возвести глаза к небу и подтвердить торжественной клятвой, что он будет молчать и имени моего никогда не коснется в своих стычках с Юхоревым, и я ушел, продолжая проклинать в душе свою откровенность. Так прошло полгода, и я забыл совсем об этой истории, считая ее навеки похороненной.

– Огурцова, Огурцова сюда, на очную ставку! – с диким торжеством заголосили Быков, Шматов и другие благожелатели Юхорева. Народу между тем набилось в камере порядочно.

Кто-то побежал в кухню за Огурцовым. Я обдумывал план действий. Дело запутывалось самым отвратительным образом. Конечно, я мог бы рассказать теперь же, при всей сходке, то, что сообщил некогда Огурцову, но некоторые, с быстротой молнии мелькнувшие в голове, соображения подсказывали, что лучше не делать этого. В самом деле, какие я мог привести доказательства? Не сказал ли бы мне Юхорев с товарищами: "А, так ты разговариваешь с начальством об арестантах? Как же ты после этого не фискал?" А что сказал бы сам Лучезаров, если бы узнал когда-нибудь, что я передал кобылке конфиденциально брошенную им мне фразу? Я ждал поэтому прихода Огурцова с понятным волнением. Он не скоро явился на зов. Вошел он в камеру неохотной, грузной походкой, флегматичный, заплывший жиром, в белом кухонном фартуке и с высоко засученными рукавами.

– Огурцов, говорил тебе Иван Николаевич про Юхорева, будто он сплетки наводит на тебя начальнику?

Минута молчания, последовавшая за этим вопросом Быкова, показалась мне вечностью.

– А зачем Ивану Миколаичу говорить мне, когда я сам это хорошо знаю? – медлительно пробасил наконец Огурцов, окинув своего врага с ног до головы ненавистным взглядом.

У меня отлегло от сердца: не выдал Огурцов!

– Что ты знаешь, волчий рот? – подскочил к нему Юхорев со стиснутыми кулаками.

– Сам сучий рот! – отвечал молодой геркулес, в свою очередь приближаясь к лицу противника. – Аль не знаешь, что у меня тоже кулак здоровый? Одному этакому живо брюшину выпущу.

– Да разве ж ты не сказывал Мишке Биркину про Ивана Николаевича! – съехал Юхорев на более удобную для себя позицию, сразу понижая тон.

– Ничего не сказывал.

– Мишка! Эй, Собачья Почта! – заревел Юхорев, оглядываясь по всем сторонам, как разъяренный тигр, ищущий добычи.

– Эге! – откликнулся юркий Мишка, норотивший уже было шмыгнуть за дверь.

– Что тебе сказывал Огурцов?

– Да что ты, мол... на место его другого хлебопека хочешь просить у начальника.

– Не про то, сволочь, спрашивают тебя! Это-то я самому Огурцову в глаза говорил... А что сказывал ему Николаич?

– Ты, может, звезды тогда на потолке считал, когда я тебе сказывал про это? – спросил и Огурцов, тоже подступая к Мишке. – А то, может, хочешь, чтоб я ребра тебе хорошенько пощупал?

Несчастный Звездочет завертелся между двух огней; для меня было очевидно, что Огурцов не сберег-таки доверенной ему мною тайны и действительно что-то сболтнул Биркину, но что теперь он готов пустить в ход свои дюжие кулаки, лишь бы только хоть как-нибудь оправдать себя в моих глазах, и перспектива отведать этих знаменитых кулаков мало улыбалась его легкомысленному confidentу.

– Так назвал он тебе Миколаича аль нет? – бесился перед Биркиным не менее грозный Юхорев.

– Да давно ведь было это, Юхорев... запаматовал я! – весь красный как рак взмолился трусливый Мишка.

Стальная рука Юхорева схватила его во мгновение ока за шиворот, приподняла, встряхнула раза два и вышвырнула за дверь камеры. Кобылка разразилась хохотом, а Юхорев – неистовой бранью. Быстрыми шагами подошел он затем ко мне и, протягивая руку, сказал:

– Ну, помиримесь в таком случае, Николаич. Я поверил этой сволочи, Собачьей Почте, которой одно надо – порядочных людей стравливать. Теперь я вполне верю вам и прошу прощения за поклев.

VII. Герои новой партии. – Открытие Прони

Смешанные чувства волновали меня долгое время после описанной истории. Тут было и в высшей степени обидное сознание той жалкой роли, какая выпала на мою долю, и не менее горькое чувство поруганной, непризнанной любви к несчастной забитой кобылке, искренней готовности всегда и во всем отстаивать ее интересы. Да, нелегко было примириться с мыслью, что мне пришлось стать на очную ставку с каким-то Огурцовым или Мишкой Звездочетом, один минутный каприз, одно слово которых могли поставить меня в самое позорное положение! На одну чашу весов положили мое человеческое достоинство, на другую – авторитет Юхорева и заставили с сердечным замиранием ждать, которая из этих двух чашек перетянет в глазах судей-зрителей, и кому из нас они вынесут обвинительный или оправдательный приговор! Ссылая сходку, я, очевидно, рассчитывал в глубине души, что кобылка, как один человек, подымеется на мою защиту и выскажет Юхореву резкое неодобрение за взведенное на меня обвинение. Ничего подобного не случилось, однако. Ни один голос не возвысился в мою пользу; единственное, чего я дождался, это – что Огурцов не решился открыто предать меня. Но и тут пришла мне па помощь его мстительная ненависть к Юхореву: не будь этой последней, считай и он нужным заискивать перед общим старостой, разве тогда поступил бы так благородно этот чистокровный представитель шпанки? Кто знает?..

В тот же день Чирок, не присутствовавший на сходке, говорил мне таинственно в бане, где он стирал белье и куда я случайно забрел:

– Хорошо мы знаем, Николаич, что Юхорев глот. И то знаем, что он все, обязательно все, что в тюрьме делается, Шестиглазому переводит. А только никак нельзя нам встать за тебя.

– Почему нельзя?

– Эх, ровно дите ты малое, право! Не знаешь разве арестантских порядков? Ведь нам житья не станет от Иванов, скажут – махоркой да мясом купили вас, продажные души!..

С выражением подобного, же тайного сочувствия подходили ко мне и многие другие арестанты, как из старой, так и из новой партии. Из этой последней несколько человек присутствовало даже на сходке. Новички, еще полные ужасных впечатлений этапного пути, а также слухов об омерзительном пищевом режиме других рудников, по-видимому, совершенно искренно недоумевали: как возможна такая черствая неблагодарность по отношению к людям, которым тюрьма стольким обязана?

– Помилуйте, да за таких людей надо вечно бога молить, а не то чтобы что... От цинги одной, как собаки, подошли бы без табачишку... А вы помогу оказываете, заступники наши в кажинной беде! Довольно мы еще в дороге наслышаны, всюду ведь слух-то прошел: не люди, а прямо ангелы небесные! Ну да не печальтесь, господа. Наша партия все по-новому переделает. Мы этим глотам вашим, Юхоревым-то разным, почирикать много не дадим... Набаловали вы их шибко.

Таким искательным языком говорило вначале большинство новоприбывших. От среднего типа старой партии такого языка я давно уже не слышал. Старые шелайские арестанты, "набалованные" ли нашим деликатным обращением, "просвещенные" ли шестиглазовским суровым режимом, держались более горделиво и независимо, были в высшей степени амбициозны и чутки насчет охраны своего человеческого достоинства в отношениях с нами. И как только новую партию смешали со старой, разбив по всем девяти камерам, так этот независимый дух сообщился сейчас же и большинству вновь пришедших.

В новой камере, куда переведены были мы с Штейнгартом, очутилось с нами шестеро новичков. Один из них, Грибский по фамилии, сын мелкого чиновника, где-то, когда-то учился и пришел в каторгу за фальшивые кредитки. В обращении с нами он старался блеснуть книжными оборотами речи, ужимочками и манерами якобы светского пошиба, но за этой внеш-

ней полированностью скрывалось самое несосветимое невежество и мелкая душонка. Заветнейшие помышления этого человека вертелись около самой грубой и первобытной клубнички и скоро даже среди арестантов он получил циничную кличку "любителя". Грибский тотчас же внес в камеру такую зловонную атмосферу словесной распущенности, что мы с Штейнгартом то и дело ежились, выслушивая эти бесконечные скабрёзные анекдоты, это грязное и извращенное остроумие. Как раз перед появлением "любителя" в нашей камере составилась в этом отношении превосходнейший подбор обитателей. Однажды вечером, когда публика была в высшей степени благодушно настроена, Штейнгарту вздумалось предложить ей никогда не произносить, находясь под замком, от вечерней до утренней поверки, ни одного площадного слова. "А кто провинится – тому банки!" – шутливо прибавил я... Вопреки всякому ожиданию, камера приняла предложение с восторгом... К чести большинства ее обитателей надо сказать, что оно и без того отличалось большой воздержанностью на язык и прибегало к циничной ругани лишь в самых исключительных случаях. Предложение было поэтому направлено главным образом против Чирка. Он тотчас же зачесался по всем направлениям тела, что было у него всегда признаком сильного волнения, и заговорил жалобно:

– И хитрые ж вы, братцы, я погляжу! Сами знаете, что я без этого слова жить не могу... Вам-то легко отвыкнуть, а мне, значит, кажинный день банок придется отведывать? Нет, я не согласен!

И с языка его тут же сорвалось запретное выражение... Тогда Сохатый, Луньков, Ногайцев, Железный Кот, Медвежье Ушко и другие кинулись на него всей оравой и отрубили такие здоровые "банки", что злополучный Чирок орал не своим голосом и клялся и божился, что станет впредь остерегаться... И точно, хотя ему и чаще других приходилось получать банки, но он начал с этих пор, насколько мог, "остерегаться", и камера наша сделалась прямо образцовой по сдержанности на язык. Случалось, что усердные ревнители нравственности отрубали банки даже случайно заходившим к нам обитателям чужих камер...

И вот вся эта воздержанность пошла прахом с появлением шестерых новичков, ни образ мыслей которых, ни характер, ни внутренняя ценность решительно никому не были известны. Аборигены тюрьмы, не успевшие еще сблизиться с новыми товарищами, не только не останавливали их, но и сами начали опять мало-помалу заражаться дурным примером: снова загремела кругом кабацкая брань, снова нравственная атмосфера сделалась душной и нестерпимо смрадной. Что касается "любителя" Грибского, то он, казалось, и не замечал того, что мы с Штейнгартом чувствуем себя в его обществе отвратительно, и продолжал то и дело вступать с нами в беседы, причем держался самым галантным и утонченно вежливым, на его взгляд, образом. Но раз вечером, когда, только что рассказав громогласно один из своих бесчисленных сальных анекдотов, он подошел с самым развязным видом к нашим нарам и задал Штейнгарту какой-то вопрос, последний поднялся, весь дрожа от негодования, и крикнул:

– Прочь от меня... Не смейте никогда больше со мной разговаривать!

Не ожидавший подобного афронта, Грибский опешил. Страшно побледнев и весь съжившись, он принял вдруг самый плачевный вид.

– Дмитрий Петрович, да что же я такое сделал? – забормотал он.

Штейнгарт повернулся к нему спиной.

– Я тебе, Грибский, вот что скажу, – заговорил тогда Чирок, – Митрий Петрович и Иван Миколаич не любят этих самых слов. Не выносит, значит, душа, да и все тут! А ты такое, брат, мелешь, что уж чего мой пермяцкий язык срамословить любит, а и мне, скажу тебе, подчас муторно становится...

– Дурак ты эдакий, – вступился и Сохатый не то серьезно, не то, по обыкновению, иронизируя, – ты должен понимать, в какую тюрьму попал и с какими людьми обращение теперь имеешь. Ты думал, здесь каторга, а на деле тут – ниверситет, и ты студентом должен понимать себя, вот что!

– У нас банки отсекали до вас каждому, кто только мать выругает! – с гордостью добавил Луньков.

– А ведь что ж, ребята, самое это разлюбезное дело! – сорвался вдруг с нар плечистый мужчина с мрачным выражением красного, как морковь, угреватого лица и маленькими рыжими усиками, Карасев по фамилии. – Я сам смерть не люблю этой нашей дурной привычки... Давайте, братцы, и мы в это согласие вступим. Банки тому сукиному сыну, кто хоть раз помянет мать аль отца нехорошим словом!

И за этим энергичным выкриком он сделал в духе энергичное движение кулаком.

– Что, брат Грибский, заварил кашу? – захохотал другой арестант, спокойно лежавший на нарах.

Он давно уже производил на меня крайне неприятное впечатление своими наглыми светло-серыми глазами, постоянно, точно у волка, оскаленными, белыми как слоновою кость зубами и всем своим лицом, тоже ослепительно белым и прекрасно упитанным. Рядом с этим антипатичным развязным блондином, фамилия которого была Тропин, лежал четвертый из новичков, худощавый брюнет с длинными усами и прямым острым носом; темные глаза его в глубоких впадинах смотрели пронзительным и почти диким взглядом. Звали его – Стрельбицкий; он не проронил пока ни одного слова.

Грибский попрежнему стоял возле наших нар, повесив голову и имея самый виноватый вид.

– Я что же... Я, как все, господа, – продолжал он оправдываться, – против общества я никогда не пойду. Я даже очень буду рад... Конечно, глупая привычка наша всему причиной... К тому же иные настоящие господа очень даже сами одобряют крепкое слово... Приходилось мне и порядочное общество тоже видать... Но ежели ваш характер иного рода, так простите великодушно, я не знал ведь...

Несчастный "любитель" имел очень комичный, жалко-растерянный вид.

– Больше, значит, не будете? – сурово спросил его Штейнгарт.

– Прямо язык себе позволю отрезать! – обрадовался Грибский. – Прямо вот принесу ножик, подам в руки и скажу: "Режьте, Дмитрий Петрович, заслужил!"

– Ну, надо, значит, в другую камеру проситься, с барами нам не житье! – гневно произнес вдруг худощавый мрачный брюнет, поднявшись с нар. И, громко брякая кандалами и стуча сапогами, он стал расхаживать взад и вперед по камере, крутя одной рукой усы и исподлобья бросая в наш угол злые, пронизывающие взгляды.

– Ха-ха-ха! Хо-хо-хо! Молодчинища Стрельбицкий, славно, брат, отбрил! – залился веселым смехом Тропин, перевалившись с одного бока на другой и скаля острые белые зубы.

– Дичь вы необразованная, еловая дичь! – ядовито бросил в сторону их обоих Карасев – тот мужчина с угреватым красным лицом, который вызвался перед тем вступить в "согласие".

Я давно уже замечал, что в этом человеке, работал ли он, отдыхал ли, разговаривал ли с кем, вечно, казалось, бурлило и клокотало тайное недовольство, злость на кого-то или обида на что-то. Вечно он на что-нибудь ворчал, проклинал то начальство, то арестантов, то самого себя. Когда же не было повода к чему-нибудь придраться, он упорно молчал по целым часам, угрюмо насупившись, с налитыми кровью глазами без ресниц, с подозрительно насторожившимся видом, точно зорко выжидая и выслеживая, где бы и в чем бы уловить хоть тень обиды себе и оскорбления. Очевидно, это был человек из породы тех самогрызунов, недалеких, беспричинно злобных и сварливых, которые умеют делать несчастными и себя самих и всех окружающих их людей. Когда на Карасева находили, случалось, порывы добросердечия, то в них было что-то неестественное, слащаво-сентиментальное, и, конечно, порывы эти были всегда крайне мимолетны и оканчивались сугубой бранью с сожителями... Так, в настоящую минуту он встал ни с того ни с сего на защиту благопристойности и с гневом обрушился на двух товарищей, заявивших себя ее противниками.

– Ты, что ль, образованный-то? – захохотал пуще прежнего Тропин, приподнимая на локте свое нахальное лицо. – Я по крайности грамотный, а ты-то до сегодня ведь полагал, что книжку вместо сахара с чаем прикусывают! Недаром и фамилия твоя – Карасев: караси ведь всех рыб глупее, братцы.

Кровь так и ударила в лицо Карасеву.

– А твоя кака фамилия? – весь дрожа от злости и тщетно ломая голову, какой бы сокрушительный ответ придумать, спросил он, подступая кошачьими шагами к нарам противника. – Ты кто такой будешь? Тропин?

– Ну, Тропин. А все ж не Карасев. Завтра, захочу, Скатертевым буду, а все же не Карасевым!

Карасев, видимо, был окончательно ошеломлен этим непонятным для него остроумием и несколько мгновений стоял как очумелый, не зная, что возразить. И вдруг, подумав, раскатился такой отборной, трехэтажной кабацкой руганью, к какой редко прибегали и самые лучшие тюремные виртуозы! Кобылка, как один человек, покатила со смеху; не выдержал даже мрачный Стрельбицкий, все время шагавший по камере.

– Аи да монах! Только что в монахи поступить собирался... Ну и удружил же! Молодчага!

Карасев окончательно потерялся.

– А чего ж он говорит мне глупости? – как бы оправдываясь, заговорил он охрипшим голосом. – Я и сам могу наговорить глупостей...

И долго еще в таком роде шла между новичками перебранка, пока все не улеглись наконец спать. Не помню уж в какой связи, поздно вечером Стрельбицкий рассказал Тропику, лежа с ним рядом на нарах, одну страшную историю из своего далекого прошлого. Начала этой истории я не слышал: должно быть, Стрельбицкий повествовал о своих разбойничьих похождениях где-то на юге России. Шайка их была переловлена, и озлобленные крестьяне-хохлы посадили троих главарей, в том числе и Стрельбицкого, в холодный погреб.

– Ну вот посадили. И помни, в одних рубахах, со связанными руками, ногами! Глядим вокруг – темно, лед. Холодно – страсть. "Что ж, братцы, видно, помирать надо", – говорим промеж себя. Помирать – так помирать! Стараемся уснуть, жмемся друг к дружке; зуб на зуб не попадает. Вдруг ночью огни. Много народу, слышим, идет. "Бить их, мерзавцев!" Ну, беда пришла. Ввалилась орава. Лупили, я тебе скажу, так, что еле живых оставили. Однако насмерть не убили. А что ж, ты думаешь, сделали? Привесили за веревку, которой руки за спиной были скручены, к балке, вылили на каждого по ведру воды и ушли. Заледенели мы все... Ну вот как сосульки бывают зимой, с крыш висят... И так, братец ты мой, кажинный день по часу, по два стали мы висеть: выльют на нас по ведру воды и уйдут. Раз, помню, целые сутки так продержали...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

В пределах цензурных возможностей, второй том "В мире отверженных" наряду с продолжающимся описанием быта уголовных отражает и жизнь в каторге политических заключенных.

2.

Народоволец М. П. Орлов в воспоминаниях пишет: "Что касается Якубовича, то перед нашим приходом в Акатуй он долгое время был молотобойцем, и Рабинович (кузнец из уголовных) уже – после выхода из тюрьмы П. Ф. всегда поминал его как примерного молотобойца. При нас П. Ф. все время был бурильщиком" ("Об Акатуе времен Мельшина".-Журнал "Каторга и ссылка", 1928, № 11, стр. 109).

3.

Шаньги с творогом – ватрушки. Сибирские колобы – небольшие круглые хлебцы.

4.

Штейнгарт и Башуров являются собирательными образами, отражающими черты характера многих политических, товарищей Якубовича. В Башурове отчасти изображен М. В. Стояновский (1867–1908); для Штейнгарта оригиналом послужили Л. В. Фрейфельд (1863 – после 1934), М. А. Уфлянд (1862–1922) и Р. М. Год (1866–1906).

5.

Настоящая фамилия арестанта Юхорева – Юдинцев. Для более полной его характеристики приводим отзыв о нем Л. В. Фрейфельда (журнал "Каторга и ссылка", 1928, № 5, стр. 93): "Большим злом в Акатуе был уголовный староста Юдинцев. Огромного роста, прекрасного телосложения, брюнет с красивой черной бородой и глазами, буквально гипнотизировавшими шпану, разбойник-профессионал, – он был грозой арестантов...

6.

Ломброзоические выводы – выводы, основанные на теории Ломброзо; Ломброзо Чезаре (1835–1909) – итальянский психиатр и криминалист, родоначальник крайне реакционного направления в буржуазном праве. Утверждал, что существует особый тип "преступного человека", и предлагал даже по особым признакам (стигматам) "профилактически" уничтожать или изолировать людей этого типа, не ожидая фактического совершения ими преступления.

7.

Под именем Землянского выведен фельдшер П. Новиков. После истории с отравлением фельдшером в Акатуевской тюрьме был назначен временно И. С. Кривоносенко, сблизившийся с политическими и носивший им газеты и письма с воли (Записки Д. П. Якубовича. – Семейный архив Якубовича).

8.

Рассказ Штейнгарта автобиографичен. В нем отражены отношения самого Якубовича к его невесте Р. Ф... Франк. Он писал Н. К. Михайловскому в марте 1897 года: "Итак, Вы находите третью главу "Мира отверженных" неудачной потому, что, во-первых, все такие исповеди-монологи отдают искусственностью в смысле формы, и во-вторых, что самый роман, имеет лишь косвенное и частичное отношение к специальным чертам "мира отверженных", не споря

о неудачном исполнении мною этой главы, я думаю, однако, дорогой Николай Константинович, что Вы не совсем правильно определяете путь и причины моей неудачи. В самом деле, почему "все" исповеди-монологи должны непременно веять искусственностью? Другое еще дело, если в виде такого монолога автор преподносит целую повесть... а здесь чтение всей главы занимает не более 1/2 часа времени; кроме того, думаю, что при этой исключительной обстановке, какая у меня приводится, подобные излияния вполне возможны и естественны. По крайней мере в жизни мне приходилось слышать их. Не могу согласиться с Вами и относительно косвенного и лишь частичного отношения "романа" к главной теме. Мне хотелось бы... изобразить возможно полно и всесторонне страдания и муки мира отверженных, понимая под этим последним словом не одних только уголовных преступников. И раз я решился ввести во вторую часть именно этих новых "отверженцев", я должен был, думалось мне, хоть отчасти (насколько это позволяют мои силы и цензурные условия) приподнять завесу и с их душевного мира; и я выбрал в нем уголок интимных, сердечных отношений и страданий, как наиболее безобидных... Мне думалось, что если такая попытка прозвучит и несколько резким диссонансом на общем фоне очерков, то от этого они нимало не проиграют..." (ИРЛИ).

9.

Строка из стихотворения А. Н. Майкова "Fortunata" – "Счастливая" (итал.).

10.

Мотив верности в любви повторен и в стихотворении П. Ф. Якубовича "Терпенье, кроткое терпенье!":

11.

Описанная сцена изображена в стихотворении Якубовича "Расставание" ("Стихотворения". Л., "Советский писатель", 1960, стр. 153).

12.

Переписка заключенным разрешалась только с близкими родственниками. П. Ф. Якубович переписывался со своей невестой, сосланной в Якутию, не через тетку, как говорится в рассказе Штейнгарта, а через сестру, М. Ф. Якубович, жившую в Петербурге.

13.

Стихотворение "В руднике" поэта и журналиста Ф. Ф. Филимонова (1862–1920).

14.

Из стихотворения "Фортуна" французского поэта Ж.-П. Беранже (1780–1857).

15.

Л. В. Фрейфельд писал, что его "познания в медицине были в то время весьма ограничены" и он твердо решил "ни под каким видом не брать на себя моральной ответственности за успех лечения и строго руководствоваться старым принципом "не вреди". Но уже после акатуйской "практики", будучи переведен в вольную команду в Кадаю, Л. В. Фрейфельд писал: "Я был встречен в Зерентуе как врач, "спаситель" жизни Архангельской (жены Лучезарова. – И. Я.). Мои медицинские познания и врачебное искусство были, конечно, весьма преувеличены; тем не менее раздутая популярность способствовала тому, что я скоро был приглашен в качестве врача сначала к начальнику каторги Томилину, затем к помощнику его Фищеву. Меня сделали врачом-профессионалом. Я тогда носил еще кандалы, ходил с бритой головой и пр." ("Из прошлого". – Журнал "Каторга и ссылка", 1928, № 5, стр. 89 и 102).

16.

Бомонд – высший свет (от французского beau monde).

17.

Олекма – подразумеваются Олекминские золотые ирииски, находившиеся в районе г. Олекминска, бывшей Якутской губернии.

18.

Манифестом 14 ноября 1894 года срок для отбывавших каторгу уменьшался на одну треть. Заключенным же зачитывался не подлинный текст манифеста, а губернаторский циркуляр, в котором допущена была неточность, обусловившая неправильное толкование смысла манифеста.

19.

Книга живота – то есть книга с записями о поведении заключенных.

20.

Кифа Мокиевич – персонаж из "Мертвых душ" Н. В. Гоголя, занимающийся "философскими" размышлениями на пустые темы (например: "Ну, а если бы слон родился в яйце, ведь скорлупа, чай, сильно бы толста была, пушкой не прошибешь...").